

ТАИСИЯ ЗАРЕЦКАЯ

The poster features a close-up of a woman's face on the left, with her eyes looking towards the camera. The background is a dark, atmospheric scene of a large, multi-story house at night, with its windows glowing from within. A small figure of a person stands in a brightly lit doorway in the center, creating a strong contrast with the dark surroundings. The overall mood is mysterious and suspenseful.

**КОМНАТА,
КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО**

МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

Таисия Зарецкая

Комната, которой не было.

<https://litres.ru/73998973>

SelfPub; 2026

Аннотация

Вера возвращается в старый семейный дом на севере, чтобы понять, почему её детство до сих пор отзывается страхом. Но дом хранит не только тайны рода Морозовых. В его стенах остались спрятанные письма, запретные комнаты, старое зеркало и голоса тех, кто когда-то тоже хотел получить ответ.

Сначала Вера думает, что ей нужно узнать правду о прошлом. Но чем глубже она погружается в историю дома, тем яснее становится: правда здесь не достаётся бесплатно.

«Дом Морозовых» — атмосферный мистический триллер для читателей Стивена Кинга, психологических хорроров и семейных саг о тёмном прошлом. Это история о доме, который помнит слишком много, о семейных тайнах, исчезновениях, детской травме и выборе, от которого зависит не только прошлое, но и судьба живых.

Содержание

Пролог	4
Глава 1	14
Глава 2	24
Глава 3	38
Глава 4	52
Глава 5	62
Глава 6.	77
Глава 7	89
Глава 8	104
Глава 9	119
Глава 10	133
Глава 11	144
Глава 12	155
Глава 13	167
Глава 15	183
Глава 16	197
Конец ознакомительного фрагмента.	210

Таисия Зарецкая

Комната, которой не было.

Пролог

Шторм

Шторм пришёл к Североморску ещё до наступления темноты, но по-настоящему вошёл в город только ночью, когда море за обрывом стало не просто тёмным, а почти бездонным, плотным, тяжёлым, и волны начали с таким глухим упорством разбиваться о камни, будто внизу, под мокрым чёрным небом, кто-то огромный пытался выбраться на берег. Ветер долго ходил вдоль пустых улиц, трепал провода, раскачивал редкие фонари у дороги к маяку и швырял дождь в окна старых домов так настойчиво, словно в каждом из них искал щель, через которую можно было бы проникнуть внутрь.

Дом Морозовых стоял на окраине, чуть выше остальных, у самого края обрыва, где солёный воздух въедался в дерево, железо и человеческую память. Днём он казался просто старым, слишком большим для небольшой семьи, с облупившимися наличниками, тяжёлой крышей и тёмными окнами второго этажа, но ночью, особенно во время шторма, в нём появлялось что-то почти живое. Скрип половиц становился

похож на осторожное дыхание, тени в углах делались гуще, а стены, пропитанные запахом моря, сырости и старых вещей, будто вспоминали всё, что когда-то происходило внутри.

Семилетняя Вера проснулась от грома, который прокатился над домом так низко и тяжело, что задрезало стекло в окне. Она не сразу поняла, где находится; несколько мгновений лежала неподвижно, ещё наполовину оставаясь в каком-то обрывке сна, где по мокрой дороге кто-то шёл за ней, не торопясь и не отставая. Потом сон растворился, и остались только её маленькая комната, темнота, бесконечный шум дождя и редкий свет маяка, который скользил по потолку, на секунду выхватывая из мрака шкаф, стул с брошенным на спинку платьем и плюшевого медведя с потёртой мордой на подоконнике.

Она уже хотела снова лечь и закрыть глаза, когда услышала наверху тихий протяжный скрип половиц.

Этот звук не был похож на обычные ночные звуки старого дома, к которым Вера давно привыкла. Дом всегда поскрипывал, особенно в непогоду, когда дерево набухало от сырости и ветер давил на стены, но сейчас в скрипе было что-то другое: размеренность, осторожность, почти человеческая тяжесть. Кто-то шёл по второму этажу, медленно переносил вес с одной доски на другую, и каждый шаг отдавался в потолке её комнаты так ясно, будто происходил совсем рядом.

Вера села в кровати, подтянула одеяло к груди и прислу-

шалась.

Второй этаж она не любила, хотя днём там не было ничего по-настоящему страшного. Там стояла старая мебель под белыми простынями, хранились коробки с мамиными книгами и папиными рыболовными снастями, а в конце длинного коридора, где обои выцвели от влажности и времени, находилась маленькая кладовка с тяжёлой дверью. Иногда мать поднималась туда за вещами, но никогда не делала этого ночью, и каждый вечер, прежде чем выключить свет в коридоре, запирала дверь на лестницу так тщательно, будто за ней находились не пустые комнаты, а что-то, что требовало постоянного присмотра.

Вера знала это правило так же хорошо, как знала, что нельзя трогать горячую плиту и нельзя выходить к обрыву без взрослых. На второй этаж ночью не ходили. Не потому, что мать объясняла почему, а потому, что в её голосе каждый раз появлялась такая сухая, сдержанная тревога, что вопросов задавать не хотелось.

Но этой ночью дверь в коридор была приоткрыта.

Сначала Вера заметила не саму дверь, а свет, который лежал на полу тонкой дрожащей полосой. Он был тусклым, жёлтым, неправильным, не похожим на мягкий свет ночника из кухни и не похожим на холодные вспышки маяка. Он падал сверху, со стороны лестницы, и от этого у Веры неприятно сжалось горло.

Она выбралась из кровати очень осторожно, словно боя-

лась, что лишний звук может привлечь к ней внимание того, кто ходил наверху. Пол был ледяным, и от прикосновения босых ступней к старым доскам по коже сразу пробежали мурашки. Прижимая к себе медведя, Вера подошла к двери своей комнаты и выглянула в коридор.

Внизу было темно. Только наверху, за лестничным пролётом, тянулся слабый свет, отчего ступени казались мокрыми и чужими. Воздух в доме пах дождём, морем и чем-то ещё, почти неуловимым: старой тканью, холодным железом, сыростью, которая будто поднималась не с улицы, а из самого дерева.

Наверху снова скрипнула половица, и Вера почувствовала, как страх внутри неё странным образом смешивается с любопытством. Она понимала, что надо вернуться в кровать, накрыться одеялом с головой и дожидаться утра, потому что утром всё всегда становилось объяснимым: тени превращались в мебель, шумы — в ветер, а странные ночные мысли — в глупости. Но сейчас её словно тянуло к лестнице, и это притяжение было таким же необъяснимым, как полоска света, которой не должно было быть.

Она поднялась на первую ступеньку, потом на вторую, потом ещё выше, держась рукой за холодные перила. С каждым шагом шум моря будто отдалялся, зато дом становился ближе, осязатее, плотнее; Вере казалось, что он слушает её дыхание и терпеливо ждёт, когда она дойдёт до конца.

На последней ступеньке она остановилась, потому что

конец коридора второго этажа увидела дверь.

Не дверь в кладовку и не дверь в одну из трёх комнат, которые Вера знала с детства, а другая — узкая, тёмная, старая, словно простоявшая здесь много лет и всё это время почему-то остававшаяся незамеченной. Но Вера знала, что это невозможно. Она сотни раз бегала по этому коридору днём, играла здесь, пряталась за шкафами, считала шаги от лестницы до стены и всегда упиралась взглядом в выцветшие обои с тёмным пятном у плинтуса. Никакой двери там никогда не было.

Теперь же вместо стены стояла она, с потемневшей металлической ручкой, с узкой щелью внизу, из которой вытекал слабый жёлтый свет.

Вера стояла неподвижно, и ей вдруг показалось, что холод на втором этаже идёт не от окон и не от дождя за стенами, а именно от этой двери. Он медленно растекался по полу, касался её босых ног, поднимался выше, забирался под тонкую ночную рубашку и заставлял кожу покрываться мурашками.

Она сделала шаг вперёд, хотя всё внутри просило её остановиться.

Тогда из-за двери донёсся голос.

Он прозвучал очень тихо, словно говоривший находился не в соседней комнате, а где-то далеко, за толстым стеклом или за слоем воды. Вера не сразу разобрала слова, но узнала интонацию раньше, чем смысл, и от этого сердце у неё ударило в груди так сильно, что она невольно прижала медведя

к себе.

— Верочка, — позвал отец.

Она нахмурилась, пытаясь понять, как он мог оказаться там. Ещё вечером отец сидел на кухне, пил чай из большой синей кружки, рассказывал ей про маяк и смеялся над тем, как ветер упрямо задувает дым обратно в трубу. Он обещал утром, если дождь стихнет, взять её с собой к берегу и показать место, где волны во время шторма поднимаются выше человеческого роста.

— Папа? — прошептала Вера, но голос получился таким слабым, что она сама едва его услышала.

За дверью что-то шевельнулось, и старая ручка почти незаметно дрогнула. Свет внизу стал ярче на мгновение, будто внутри кто-то подошёл ближе.

— Открой мне, Верочка, — снова сказал отец, и в его голосе было что-то странное, усталое и ласковое одновременно, отчего Вере стало ещё страшнее.

Она протянула руку, но не успела коснуться ручки.

Сзади раздался голос матери.

— Вера, отойди от двери.

Мать не кричала. В этом и было самое страшное. Ирина Морозова стояла у лестницы босая, в длинной тёмной ночной рубашке, с растрёпанными волосами и лицом настолько бледным, что в тусклом свете второго этажа казалась почти чужой. Она смотрела не на дочь, а на дверь, и в её взгляде было то выражение, которое ребёнок не способен понять до

конца, но способен почувствовать всем телом: это был страх человека, который слишком хорошо знает, чего именно боится.

— Мам, там папа, — сказала Вера и сама услышала, как неуверенно прозвучали эти слова.

Ирина медленно поднялась по оставшимся ступеням, не сводя взгляда с двери. На мгновение Вере показалось, что мать тоже слышит голос, но не удивляется ему, потому что ждала именно этого.

— Это не он, — произнесла Ирина тихо, почти беззвучно, и в этом коротком ответе было столько боли и решимости, что Вера впервые испугалась не двери, а матери.

Снаружи ударил гром, и дом вздрогнул от крыши до фундамента. Где-то внизу звякнула посуда, ветер завыл в щелях, а из-за двери снова донёсся голос отца, теперь обращённый уже не к Вере:

— Ира, пожалуйста.

Лицо матери изменилось. Она словно на секунду перестала быть взрослой женщиной, которая всегда знала, где лежат ключи, как остановить кровь из разбитой коленки и что делать, если ночью пропал свет. В эту секунду она выглядела почти такой же напуганной, как Вера, только её страх был старше, глубже и тяжелее.

— Не слушай, — сказала она дочери, подходя ближе. — Что бы ты сейчас ни услышала, что бы тебе ни показалось, ты не должна открывать эту дверь.

— Но он просит, — прошептала Вера, и сама не поняла, почему ей вдруг стало так жалко отца, будто он действительно стоял там, один, промокший и замёрзший, и не мог попасть домой.

Ирина схватила её за руку. Пальцы у матери были холодные, влажные и дрожащие, но держали крепко.

— Дом иногда говорит голосами тех, кого мы любим, — произнесла она так тихо, что Вера скорее угадала слова по движению губ, чем слышала их. — Запомни это, Верочка. Если когда-нибудь он позовёт тебя снова, ты должна уйти.

Вера ничего не поняла, но от этих слов внутри у неё стало пусто и холодно. Она позволила матери увести себя от двери, хотя всё ещё смотрела через плечо на тёмное дерево, на потемневшую ручку, на полоску света у порога.

Уже на лестнице из-за двери снова прозвучал голос отца, и теперь в нём не было просьбы — только тихая, почти нежная усталость.

— Впусти меня.

Ирина замерла на секунду, но не обернулась. Она быстро увела Веру вниз, захлопнула дверь на лестницу, повернула ключ и долго стояла, прижав ладонь к дереву, словно удерживала не просто дверь, а весь второй этаж, весь дом, весь шторм, который пытался прорваться внутрь.

Вера сидела на кровати, обняв медведя, и смотрела на мать. Она никогда раньше не видела её такой. Мама всегда была строгой, собранной, иногда резкой, иногда усталой, но

в ту ночь рядом с ней стояла женщина, которая знала, что чудовища могут говорить человеческими голосами.

Через некоторое время наверху снова послышались шаги — медленные, тяжёлые, с долгим протяжным скрипом половиц, будто кто-то ходил по коридору из конца в конец и никак не мог найти дорогу обратно. Ирина не двигалась, только закрыла глаза и сжала губы так сильно, что они почти побелели.

К утру шторм начал стихать, но отец исчез.

Мать сказала, что он ушёл к морю ещё до рассвета, и произнесла это так буднично, будто мужчина может выйти из дома в самый разгар ночной бури, оставив в прихожей куртку, на кухонном столе недопитый чай и сигареты возле окна. Вера смотрела на эти вещи и уже тогда, в свои семь лет, понимала, что взрослые иногда лгут не потому, что хотят обмануть ребёнка, а потому, что иначе им самим придётся произнести правду вслух.

После завтрака, когда мать вышла во двор и долго стояла у калитки, глядя в сторону моря, Вера поднялась на второй этаж.

Днём коридор был обычным: серый свет из окна, запах пыли, старые обои, тёмное пятно у плинтуса в самом конце. Она дошла до стены, коснулась её ладонью и почувствовала под пальцами только холодную, чуть влажную бумагу.

Двери там не было.

Спустя много лет Вера будет помнить не исчезновение от-

ца и даже не лицо матери, побелевшее от ужаса у лестницы. Больше всего она будет помнить голос за дверью — тихий, ласковый, почти родной, — и то, как сильно ей тогда хотелось его впустить.

Глава 1

Сообщение

Вера Морозова узнала о смерти матери в тот час утра, когда город за окном ещё не проснулся окончательно, но уже перестал быть ночным. Москва лежала под мокрым мартовским небом, серым, низким и безразличным, с редкими огнями в окнах напротив и тонкой полосой рассвета, едва заметной между крышами. На подоконнике остывал кофе, сваренный слишком рано и выпитый только наполовину, на столе светился открытый ноутбук с незавершённым письмом клиенту, а телефон, оставленный на стопке бумаг, вдруг завибрировал так резко и настойчиво, что Вера вздрогнула, будто этот звук донёсся не из комнаты, а из какого-то другого, давно закрытого пространства её жизни.

Она не сразу взяла трубку. Сначала посмотрела на экран, увидела незнакомый номер с кодом Архангельской области и почувствовала, как внутри неё медленно, почти без причины, сжалось что-то старое. Номер сам по себе ничего не значил; ей могли звонить из банка, из клиники, из любой организации, которая каким-то образом получила её данные. Но код региона был слишком точным, слишком неприятно знакомым, чтобы Вера смогла убедить себя в случайности.

Североморск.

Она не произнесла это слово вслух, но оно всё равно про-

звучало в комнате, как чужой шаг в пустом коридоре.

Телефон продолжал вибрировать, слегка сдвигаясь по бу-магам, и Вера наконец нажала на зелёную кнопку. На другом конце несколько секунд было слышно только далёкое шуршание, дыхание и глухой офисный шум, похожий на шелест старых папок.

— Вера Сергеевна Морозова? — спросила женщина с усталым, официально-сдержанным голосом.

Вера машинально выпрямилась, хотя в комнате была одна.

— Да, слушаю.

— Меня зовут Ольга Павловна Захарова, я нотариус Североморского нотариального округа. Простите, что беспокою вас в такое время, но мне необходимо сообщить вам о смерти вашей матери, Ирины Алексеевны Морозовой.

Вера смотрела на собственное отражение в тёмном экране ноутбука и некоторое время не понимала, что должна ответить. Слова, произнесённые женщиной, были ясными и простыми, но внутри они не сразу соединились в смысл. Смерть матери почему-то не показалась ей событием, которое могло произойти в реальности. Скорее это было что-то давно ожидаемое, но существовавшее в воображении, как мысль о старом доме: он, конечно, стоял где-то там, на краю обрыва, под солёным ветром и серым небом, но одновременно казался частью сна, из которого Вера уехала много лет назад и в который больше не собиралась возвращаться.

— Когда? — спросила она и удивилась, насколько ровным прозвучал её голос.

— Позавчера вечером. Точнее, по заключению врача, смерть наступила в ночь с воскресенья на понедельник. Соседка вызвала участкового, потому что Ирина Алексеевна долго не открывала дверь и не отвечала на звонки. Насколько я понимаю, смерть была естественной, предварительно — сердечная недостаточность, но документы вам лучше будет уточнить уже на месте. На месте. В этих двух словах было больше угрозы, чем во всей фразе о смерти.

Вера поднялась со стула и подошла к окну. Во дворе дворник лениво толкал перед собой мокрый снег, превращавшийся в грязную кашу у бордюра, возле подъезда стояла женщина с собакой и говорила по телефону, а дальше, за рядами машин, город жил своей обычной утренней жизнью, равнодушной к тому, что где-то далеко, почти на краю карты, умерла женщина, которую Вера десять лет пыталась не называть мамой даже мысленно.

— Мне очень жаль, — сказала нотариус после паузы, и эта дежурная фраза прозвучала не фальшиво, а скорее устало, как будто она давно знала, что люди редко бывают готовы к таким звонкам, даже если годами убеждали себя в обратном. — У Ирины Алексеевны осталось завещание, и, кроме того, вы указаны как ближайшая родственница. Вам нужно будет приехать для оформления документов, а также решить вопрос с домом и похоронами. Насколько я знаю, тело пока

находится в морге районной больницы.

Вера закрыла глаза. На мгновение перед ней возник не морг и не районная больница, а кухня старого дома: жёлтый свет над столом, мамина рука на ручке чайника, занавеска, вздувающаяся от сквозняка, и голос, сухой, сдержанный, всегда чуть напряжённый, даже когда речь шла о самых простых вещах. Не ходи туда. Не открывай. Не слушай, если позовут.

Она резко открыла глаза, словно эти воспоминания могли затянуть её глубже, чем следовало.

— Я не знаю, когда смогу приехать, — сказала Вера. — У меня работа, и мне нужно время, чтобы всё организовать.

— Понимаю. Но похороны желательно не откладывать. Кроме того, дом сейчас фактически остаётся без присмотра, а погода у нас сами знаете какая. Ветер, сырость, перепады электричества. Соседка сказала, что у Ирины Алексеевны в последнее время были проблемы с отоплением.

Соседка. Дом. Отопление. Похороны. Все эти слова звучали непристойно бытовыми рядом со смертью, и именно поэтому казались особенно невыносимыми. Вера не плакала. В ней не было той ясной, горячей боли, которую принято испытывать после известия о смерти близкого человека. Вместо неё внутри поднималось тяжёлое, вязкое оцепенение, и где-то под ним, глубже, шевелилось чувство, похожее на страх.

— Кто вам дал мой номер? — спросила она.

— Он был в документах Ирины Алексеевны. И ещё в за-

вещанин. Она указала вас как единственного наследника.

Вера почти усмехнулась, но не от веселости.

Единственного наследника. Это было похоже на последний жест матери: оставить ей не память, не объяснение, не просьбу о прощении, а дом. Огромный старый дом у моря, из которого Вера уехала сразу после университета и куда не возвращалась ни на похороны дальних родственников, ни на городские праздники, ни даже тогда, когда мать впервые попала в больницу и соседка прислала ей короткое сообщение: «Ирина Алексеевна совсем плоха, может, вам стоит приехать».

Тогда Вера не приехала.

Она написала, что не может.

И это было правдой, но не всей.

— Я пришлю вам список документов сообщением, — продолжила нотариус. — Паспорт, свидетельство о рождении, если оно сохранилось, документы, подтверждающие родство. И, пожалуйста, предупредите меня, когда будете знать дату приезда. В городе не так много гостиниц, но, если понадобится, я могу подсказать, где остановиться.

— У меня есть где остановиться, — ответила Вера, и сама удивилась, как быстро сказала это.

На другом конце снова возникла короткая пауза.

— В доме? — осторожно уточнила Ольга Павловна.

Вера не сразу ответила. Она представила себе, как открывает тяжёлую входную дверь, как ступает в тёмную прихо-

жую, где наверняка всё ещё пахнет сыростью, солью, старой одеждой и тем странным холодом, который даже летом держался в коридоре возле лестницы. Представила окно на кухне, за которым лежит мокрый сад, скрип половиц на втором этаже, закрытую дверь наверх. Взрослый человек внутри неё знал, что всё это всего лишь воспоминания, детские страхи, обломки старой семейной жизни, в которой было слишком много молчания и слишком мало тепла. Но тело помнило иначе.

— Да, — сказала она наконец. — В доме.

После разговора Вера ещё долго стояла у окна с телефоном в руке. Экран погас, потом снова загорелся от входящего сообщения: нотариус прислала адрес, перечень документов, несколько сухих строк о порядке оформления наследственного дела и номер ритуальной службы. Всё это выглядело так буднично, будто смерть была не разрывом в ткани жизни, а всего лишь процедурой, состоящей из справок, подписей, квитанций и звонков незнакомым людям.

Она поставила кофе в раковину, хотя он был почти полным, закрыла ноутбук и села на край дивана. В квартире было чисто, спокойно и немного безлично. Вера прожила здесь шесть лет, но так и не позволила этому месту стать домом в полном смысле слова. Белые стены, книжные полки, рабочий стол, серый диван, несколько фотографий из поездок, на которых не было ни одного человека из прошлого. Всё в этой квартире говорило о женщине, которая научилась жить

аккуратно, разумно, без лишних привязанностей и без тех вещей, которые могут внезапно напомнить о том, что ты когда-то была ребёнком.

Мать умерла.

Эта мысль наконец стала достаточно отчётливой, чтобы её можно было рассмотреть, но всё равно не вызывала слёз. Вера пыталась найти в себе хоть что-то похожее на горе и вместо этого обнаруживала только усталость и странное облегчение, за которое тут же становилось стыдно. Смерть Ирины Морозовой означала конец одной мучительной связи, которая давно держалась не на любви, а на крови, молчании и невысказанных обвинениях. Но вместе с этим она означала и возвращение туда, откуда Вера так долго бежала, меняя города, работы, мужчин, привычки, даже интонации, лишь бы однажды проснуться человеком, у которого нет старого дома на берегу и матери с глазами, полными тайного ужаса.

Она встала, прошла в спальню и открыла шкаф. Чемодан стоял на верхней полке, пустой, пыльный, с биркой от последней командировки. Вера достала его, поставила на пол и несколько минут смотрела на раскрытую тёмную пасть, не зная, что именно нужно брать на похороны матери, которую она не видела почти десять лет. Чёрное платье. Тёплый свитер. Документы. Зарядка. Таблетки от бессонницы, которые врач велел принимать только в крайнем случае. Она складывала вещи механически, но каждое движение почему-то казалось частью чужого сценария, в котором её роль давно на-

писана без её согласия.

Когда она потянулась за папкой с документами, из верхнего ящика комода выпал старый конверт. Вера наклонилась, подняла его и сразу узнала почерк матери: ровный, острый, с сильным нажимом, будто каждая буква была не написана, а процарапана на бумаге. Конверт пришёл четыре года назад, но так и остался нераспечатанным. Тогда Вера нашла его в почтовом ящике, увидела обратный адрес и убрала подальше, пообещав себе открыть позже, когда будет готова. Потом забыла или сделала вид, что забыла.

Теперь конверт лежал у неё в руках, и от него исходила почти физическая тяжесть.

Она провела пальцем по краю бумаги, но вскрывать не стала. Не сейчас. Не в этой квартире, где всё ещё можно было притворяться, что прошлое не имеет власти над настоящим. Вера положила письмо в папку с документами, хотя не смогла бы объяснить, зачем берёт его с собой.

К полудню она купила билет на ближайший поезд до Архангельска, а оттуда собиралась добраться автобусом. Самолёты на нужную дату оказались неудобными, да и сама мысль о быстром перелёте казалась ей почему-то неправильной. Североморск не был местом, куда возвращаются внезапно. К нему нужно было ехать долго, через серые станции, холодные леса, мокрые дороги и постепенно нарастающее ощущение, что привычная жизнь остаётся позади не километрами, а слоями.

Перед выходом из квартиры Вера остановилась в прихожей. Там, возле зеркала, лежали ключи, помада, несколько чеков и маленькая серебряная заколка, которую она носила редко, но почему-то всегда перекладывала с места на место. Зеркало отражало её лицо: спокойное, собранное, чуть бледное, с тёмными кругами под глазами, которые уже давно стали частью внешности. Она выглядела как женщина, способная справиться с любыми документами, переговорами, похоронами и наследством. Как человек, который не станет раскисать от одного телефонного звонка.

Но когда Вера уже потянулась к выключателю, телефон снова ожил в кармане пальто.

Она решила, что это нотариус, и достала его без тревоги. На экране было сообщение с неизвестного номера. Без подписи, без приветствия, всего одна короткая фраза:

«Не ночуйте в доме, если начнётся шторм».

Вера перечитала сообщение несколько раз, пока буквы не стали казаться чужими. Потом подняла глаза на окно. В Москве по стеклу стекал обычный мокрый снег, грязный, редкий, почти весенний, и никакого моря рядом не было, никакого обрыва, никакого старого дома, где лестница на второй этаж всегда пахла холодом.

Она хотела удалить сообщение сразу, но не смогла.

Вместо этого Вера открыла прогноз погоды для Североморска и увидела, что через два дня в городе ожидалось штормовое предупреждение. Сильный ветер с моря, дождь,

возможные перебои с электричеством.

Телефон потемнел у неё в руке.

В квартире стало очень тихо.

И в этой тишине Вера вдруг отчётливо вспомнила голос, который много лет назад звал её из-за двери, которой не существовало.

Глава 2

Североморск

Поезд пришёл в Архангельск ранним утром, когда небо ещё не успело посветлеть по-настоящему и висело над городом низкой серой крышкой, под которой всё казалось влажным, неподвижным и немного чужим. Вера почти не спала всю ночь, хотя несколько раз пыталась закрыть глаза и заставить себя провалиться хотя бы в короткий, беспмятный сон. Вместо этого она лежала на узкой полке, слушала равномерный стук колёс, смотрела в тёмное окно, где время от времени проступало её собственное отражение, и думала о том, что возвращение в прошлое редко происходит резко. Оно подбирается медленно, через случайные запахи, голоса, названия станций, через холодный чай в пластиковом стакане, через ощущение дороги, которая будто знает о тебе больше, чем ты сама готова признать.

К утру за окном потянулись мокрые окраины, редкие фонари, склады, пустые платформы, обледеневшие заборы и чёрные полосы леса за ними. Вера собрала вещи заранее, хотя до прибытия оставалось ещё почти двадцать минут, и долго сидела с чемоданом у ног, держа в руках телефон. Сообщение с неизвестного номера она не удалила. Оно лежало в памяти телефона и в её собственной памяти одинаково тяжело, как маленький предмет, который невозможно выбро-

силь, потому что он слишком точно попал в ту часть души, где до сих пор хранился детский страх.

«Не ночуйте в доме, если начнётся шторм».

Вера перечитывала эту фразу столько раз, что слова начали терять смысл и превращаться в набор букв, но тревога от этого не уменьшалась. Рациональная часть её сознания уже успела предложить несколько объяснений: кто-то из соседей узнал о её приезде и решил напугать, кто-то из знакомых матери слишком хорошо помнил старые семейные слухи, или это было вовсе не предупреждение, а неудачная попытка вмешаться в наследственные дела. Дом у моря стоил денег, пусть и требовал ремонта, а в маленьких городах смерть одинокой женщины редко оставалась только частной трагедией; вокруг неё быстро возникали чужие интересы, пересуды, обиды, старые счёты и люди, которые почему-то считали себя вправе знать больше остальных.

Но ни одно объяснение не делало сообщение по-настоящему безопасным.

На автовокзале пахло мокрой одеждой, дешёвым кофе из автомата и тяжёлым воздухом дальних рейсов. Вера купила билет до Североморска у женщины в кассе, которая едва подняла на неё глаза, и вышла на улицу, чтобы дождаться автобуса под навесом. Ветер здесь был совсем не московским. Он не просто трогал лицо и волосы, а словно входил под одежду, находил незащищённые места у шеи и запястий, приносил с собой солёную сырость, холод асфальта, запах

реки, моря и чего-то железного, давнего, северного.

Автобус оказался старым, с мутными окнами и потрескавшимися поручнями. Вера села у окна, поставила чемодан рядом и почти сразу поняла, что дорога будет долгой не только из-за километров. Всё вокруг постепенно начинало меняться: городские кварталы редели, уступая место лесу, потом появлялись небольшие посёлки с покосившимися заборами, серыми крышами, остановками, где стояли люди с неподвижными лицами, будто давно привыкшие ждать под любым дождём. За окнами тянулись голые деревья, мокрые поля, придорожные кресты, редкие указатели и тёмные пятна воды в низинах, а небо всё больше темнело к северу, словно именно там собиралось то, что потом должно было обрушиться на побережье.

Вера пыталась читать письма в телефоне, отвечать на рабочие сообщения, проверять новости, но взгляд всё время возвращался к дороге. Чем ближе становился Североморск, тем отчётливее проступало ощущение, что она не едет в город, где когда-то выросла, а приближается к месту, которое всё это время оставалось на прежней глубине внутри неё и теперь поднимается наружу вместе с сыростью, ветром и тяжёлыми облаками.

Она уехала оттуда в восемнадцать лет, сначала в университет, потом дальше, в Москву, и первое время возвращение казалось возможным, даже неизбежным. Все уезжают из маленьких городов с тайной мыслью, что когда-нибудь всё рав-

но приедут на лето, на Новый год, на чьи-то свадьбы или похороны, просто пока нужно закрепиться, выжить, стать кем-то другим. Но годы шли, и Североморск постепенно превращался из реального места в набор внутренних запретов. Не звонить без необходимости. Не отвечать сразу. Не смотреть старые фотографии. Не вспоминать лестницу на второй этаж. Не произносить вслух того, что случилось в ночь исчезновения отца, потому что любое произнесённое слово делает прошлое более плотным.

Матери она звонила редко. Сначала по праздникам, потом всё реже, потом почти перестала. Их разговоры никогда не длились долго и были похожи на осторожное передвижение по тонкому льду: здоровье, работа, погода, цены, иногда короткие замечания матери о доме, о соседях, о том, что море в этом году особенно злое. Вера никогда не спрашивала, почему Ирина Алексеевна не продаст дом и не переедет хотя бы в квартиру ближе к центру, потому что заранее знала ответ или боялась его услышать. Мать была привязана к этому месту не так, как человек привязан к дому, где прожил много лет. Скорее так, как сторож привязан к воротам, которые не имеет права оставить.

Автобус вздрогнул на выбоине, и Вера очнулась от мыслей. За окном показался первый дорожный знак с названием города. Белые буквы на синем фоне были облуплены по краям, и под ними кто-то когда-то нарисовал чёрной краской маленькую дверь с косой ручкой. Возможно, это был обыч-

ный подростковый рисунок, случайный, бессмысленный, но Вера смотрела на него до тех пор, пока знак не исчез за поворотом, и почувствовала неприятное покалывание в ладонях.

Североморск встретил её дождём.

Не сильным, не бурным, а мелким, настойчивым, почти невидимым, от которого через несколько минут становилось мокрым всё: волосы, воротник пальто, ручка чемодана, ресницы, губы. Автостанция почти не изменилась. Та же низкая постройка с облупленной вывеской, тот же киоск у выхода, где продавали пирожки, сигареты и дешёвые зонты, та же лавка у стены, на которой когда-то сидела Вера с матерью, ожидая автобус до районной больницы. Даже запах был похож: мокрый бетон, солярка, остывшая выпечка и море где-то рядом, хотя от автостанции до берега нужно было идти почти двадцать минут.

Она вышла из автобуса последней. Пассажиры быстро разошлись, будто у каждого здесь было место, куда необходимо добраться прежде, чем дождь усилится. Вера поставила чемодан на землю, застегнула пальто выше и огляделась. Город был меньше, чем она помнила, и одновременно тяжелее. Серые дома вдоль улицы казались ниже, окна темнее, вывески старше, но в этом уменьшении не было облегчения; наоборот, Североморск будто сжался, как кулак.

Первым человеком, который узнал её, оказалась женщина из киоска. Вера подошла купить бутылку воды, и та, пробирая товар, вдруг замедлила движение, прищурилась и вни-

мательно посмотрела на неё поверх очков.

— Морозова? — спросила она неуверенно, но в голосе уже звучала не догадка, а узнавание.

Вера почувствовала знакомое желание ответить отрицательно, сделать вид, что она просто приезжая, случайная женщина с чемоданом и усталым лицом.

— Да, — сказала она. — Вера Морозова.

Женщина несколько секунд молчала, потом опустила взгляд на кассу и зачем-то стала поправлять пакеты на прилавке.

— Соболезную, — произнесла она наконец. — Ирина Алексеевна была... своеобразная женщина, но сильная. Такие долго держатся.

Вера не знала, что ответить на это странное определение. «Своеобразная» было тем словом, которым в маленьких городах часто прикрывали всё, о чём не хотели говорить прямо: одиночество, странности, тяжёлый характер, слухи, болезни, грехи. Она кивнула, забрала воду и уже собиралась отойти, когда женщина добавила тише:

— Вы надолго?

Вопрос был обычным, но прозвучал слишком внимательно.

— Пока не знаю. Нужно оформить документы и похороны.

— В доме остановитесь?

Вера снова услышала этот вопрос — почти тот же самый,

что вчера задала нотариус. И снова в нём было не любопытство, а осторожность, будто люди проверяли, насколько близко она собирается подойти к чему-то, чего сами предпочитали не касаться.

— Да, — ответила она. — Это мой дом.

Женщина посмотрела на неё быстро, почти испуганно, и тут же отвела глаза.

— Ваш, конечно. Кто ж спорит.

Снаружи просигналила машина, и этот звук помог Вере выйти из странной паузы. Она убрала бутылку в сумку и направилась к стоянке такси, чувствуя спиной взгляд киоскёрши. За годы жизни в Москве Вера привыкла к тому, что человек может исчезнуть в толпе, стать незаметным, неинтересным, одним из многих. В Североморске это было невозможно. Здесь фамилия шла впереди тебя, как тень, и иногда эта тень оказывалась длиннее самой жизни.

Таксист, которому она назвала адрес, не переспросил дорогу. Он был невысоким мужчиной лет пятидесяти с широкими плечами, красным от ветра лицом и молчаливой привычкой смотреть на пассажиров через зеркало заднего вида. Машина пахла табаком, влажными ковриками и освежителем воздуха с резким хвойным запахом.

— К Морозовой, значит, — сказал он, выруливая со стоянки.

— Уже не к Морозовой, — ответила Вера и сразу пожалела, потому что фраза прозвучала жестче, чем она хотела.

— Простите. Я имею в виду, Ирина Алексеевна умерла.

— Знаю, — сказал таксист после короткой паузы. — Город маленький.

Они поехали по центральной улице, где мокрые пятиэтажки стояли вплотную к дороге, первые этажи занимали аптеки, магазины, парикмахерские с выцветшими фотографиями стрижек в окнах. Вера узнавала отдельные места, но узнавание было болезненно неточным, как если бы она смотрела на старую фотографию, которую кто-то долго держал на солнце. Вот здесь раньше был книжный, где мать покупала ей тетради и говорила, что хорошие книги нужно держать чистыми руками. Там, у поворота, стояла булочная, откуда по утрам пахло горячим хлебом. На углу возле школы когда-то росла рябина, под которой Вера в двенадцать лет впервые подралась с одноклассницей, назвавшей её мать ведьмой.

Рябины больше не было.

На её месте стоял банкомат с разбитым козырьком.

— Давно не были? — спросил таксист.

— Давно.

— Оно и видно.

Вера посмотрела на него в зеркало.

— Что видно?

Он пожал плечами, не отрывая взгляда от дороги.

— Люди, которые здесь живут, на море так не смотрят.

Только после его слов Вера поняла, что действительно

смотрит в сторону берега всякий раз, когда улицы расходятся и между домами появляется просвет серой воды. Море было почти того же цвета, что небо, только темнее у горизонта. Оно двигалось тяжело, без блеска, и в этом движении не было ничего живописного. В детстве Вера думала, что море — это огромная память, которая ничего не забывает и однажды возвращает всё выброшенное на берег, пусть даже через много лет.

Машина свернула на старую дорогу к обрыву. Здесь город редел, становился ниже и тише. Дома стояли дальше друг от друга, заборы были выше, сады — запущеннее, а ветер уже не задерживался на улицах, а шёл с моря открыто, уверенно, как хозяин. На краю дороги показался маяк — тонкая тёмная башня на сером фоне, знакомая до боли. Вера не видела его много лет, но тело узнало раньше сознания: внутри у неё сжалось что-то детское, маленькое, спрятанное слишком глубоко.

— Шторм обещают, — сказал таксист, замедляя ход перед поворотом. — К ночи разойдётся не на шутку.

Вера посмотрела на него.

— Часто здесь теперь такие предупреждения?

— Как когда. Осенью чаще, весной реже, но море в последние годы странное. То тихое, как мёртвое, то вдруг за ночь берег съест. У вас там дом на самом краю, я бы проверил, что с окнами и крышей. И электричество может выбить.

Он говорил спокойно, по-деловому, но Вера снова вспом-

нила сообщение. Не ночуйте в доме, если начнётся шторм. Она хотела спросить, кто мог прислать такое предупреждение, но не спросила. В маленьком городе вопрос, заданный не тому человеку, возвращается к тебе уже в чужом пересказе.

Дом появился за поворотом внезапно, хотя Вера знала, что он должен быть именно там.

Старый, тёмный, с высокой крышей и окнами второго этажа, обращёнными к морю, он стоял чуть в стороне от дороги, за покосившимся забором и мокрыми голыми яблонями. За годы её отсутствия дом не разрушился, как иногда воображалось ей в Москве, но и не сохранился прежним. Он будто осел, потяжелел, вобрал в себя ещё больше сырости и молчания. Краска на наличниках облупилась, крыльцо потемнело от дождей, водосточная труба возле угла была погнута, а одно из окон наверху закрывала серая занавеска, хотя Вера точно помнила, что в детстве в той комнате занавесок не было.

Таксист остановил машину у калитки и помог достать чемодан из багажника. Дождь к этому времени усилился, и по садовой дорожке текли тонкие мутные ручьи.

— Вам помочь донести? — спросил он.

— Нет, спасибо.

Он посмотрел на дом, потом на Веру, и на мгновение ей показалось, что он хочет сказать что-то ещё, но передумал.

— Если что, в городе связь плохо ловит ближе к обрыву.

Лучше звоните с кухни, там обычно берёт.

Это знание было слишком конкретным, почти интимным, и Вера почувствовала раздражение.

— Вы часто сюда ездили?

— Иногда, — ответил он. — Ирина Алексеевна вызывала машину до больницы или в аптеку. Не любила, когда её кто-то подвозил бесплатно.

В этом Вера узнала мать так точно, что на секунду стало больно. Ирина Морозова могла нуждаться в помощи, но ненавидела сам факт этой нужды. Она всегда платила, возвращала, закрывала долги, запирала двери, держала лицо, будто любая слабость была щелью, через которую в дом может войти что-то опасное.

Таксист уехал, и Вера осталась одна у калитки.

Несколько секунд она просто стояла под дождём, сжимая ручку чемодана, и смотрела на дом. Вокруг не было ни одного человека. Только ветер шевелил мокрые ветки яблонь, за забором шумело море, и где-то далеко, со стороны маяка, тянулся низкий гул, который мог быть сиреной, а мог быть просто голосом ветра в металлических конструкциях.

Ключи от дома она нашла в конверте, который нотариус велела забрать у соседки, но соседка, как выяснилось из короткого сообщения, оставила их под старым цветочным горшком на крыльце. Это было настолько по-североморски — спрятать ключи в самом очевидном месте, потому что здесь всё равно все знали, кто чужой, а кто свой, — что Вера

едва заметно усмехнулась.

Она открыла калитку, и та закрипела так же, как в детстве. Этот звук оказался неожиданно сильнее всех воспоминаний. Вера вдруг увидела себя маленькой: мокрые варежки, школьный портфель, мать на крыльце, отец у сарая, дым от его сигареты, белый пёс соседей, бегущий вдоль забора. Всё это возникло и сразу рассыпалось, как изображение на старой плёнке.

Чемодан глухо стучал по неровным плитам садовой дорожки. Возле крыльца Вера остановилась, подняла горшок, достала ключ и долго держала его в ладони. Металл был холодный, влажный и тяжёлый. Такими же ей запомнились ключи матери: не просто предметы, а маленькие знаки власти над домом, где каждая дверь имела значение.

Вера вставила ключ в замок. Он повернулся не сразу. Пришлось нажать плечом на дверь, и только после этого внутри что-то щёлкнуло, нехотя, с сухим сопротивлением. Дверь открылась, выпуская наружу запах закрытого дома: сырость, пыль, старое дерево, лекарства, холодная зола в печи, выцветшая ткань и едва уловимый аромат маминых духов, которые Ирина Алексеевна перестала использовать ещё до Вериного отъезда, но которые, казалось, каким-то образом остались в стенах.

Вера перешагнула порог.

В прихожей было полутемно. На крючке висело старое пальто матери, под ним стояли резиновые сапоги, аккурат-

но поставленные носками к стене, на маленьком столике лежали перчатки, квитанция за электричество и очки в тонкой металлической оправе. Всё выглядело так, будто хозяйка вышла ненадолго и должна была вернуться через несколько минут. Эта аккуратность оказалась страшнее беспорядка. Смерть не оставила здесь явного следа, но именно поэтому её присутствие чувствовалось сильнее: дом продолжал держать форму жизни, из которой человек уже исчез.

Вера закрыла дверь и осталась стоять в прихожей, прислушиваясь.

Сначала она слышала только дождь, ветер и далёкий грохот волн. Потом — тихое тиканье часов из гостиной. И ещё какой-то слабый звук наверху, возможно, обычный скрип старых балок под ветром.

Она заставила себя не смотреть на лестницу.

Не сейчас.

Сначала нужно было включить свет, занести чемодан, проверить воду, отопление, позвонить нотариусу, узнать про морг, ритуальную службу, документы, всё то, что делают взрослые люди, когда приезжают хоронить родителей. Взрослые люди не стоят в прихожей, боясь поднять глаза на второй этаж. Взрослые люди знают, что дома не помнят, двери не появляются из ниоткуда, а мёртвые отцы не зовут дочерей по имени сквозь стены.

Вера нащупала выключатель. Лампочка под потолком мигнула несколько раз и загорелась тусклым жёлтым светом.

На лестнице, ведущей на второй этаж, лежала пыль. Но посередине одной из ступеней был тёмный мокрый след, похожий на отпечаток босой ноги.

Вера смотрела на него долго, не двигаясь и не позволяя себе сделать ни одного вывода. За окнами усиливался дождь, где-то в глубине дома продолжали тикать часы, а из верхнего коридора медленно тянуло холодом, слишком свежим и влажным для закрытого, пустого этажа.

Глава 3

Дом у моря

Вера не сразу решилась подняться по лестнице, хотя мокрый след на ступени уже начал темнеть на глазах, впитываясь в старое дерево так медленно, будто дом неохотно принимал в себя доказательство чьего-то присутствия. Она стояла в прихожей с чемоданом у ног, с пальто, ещё влажным от дождя, на плечах и смотрела на эту неровную тёмную отметину, которая была слишком похожа на отпечаток босой человеческой ступни, чтобы её можно было сразу назвать случайным пятном. Взрослая, разумная часть её сознания торопливо подбирала объяснения: протекла крыша, ветер занёс воду через плохо закрытое окно, кто-то из соседей заходил после смерти матери, может быть, врач, участковый или работник ритуальной службы. Но все эти объяснения разбивались об одну неприятную деталь: след был посередине лестницы, не возле входной двери, не рядом с окном, не там, где вода могла появиться естественно, а именно на пути наверх, словно кто-то спустился со второго этажа и остановился, не дойдя до прихожей.

В доме было холодно, хотя батареи едва слышно потрескивали, и этот холод не походил на обычную мартовскую сырость. Он держался в воздухе отдельным слоем, неподвижным и влажным, будто комнаты долго стояли закрытыми не

после смерти человека, а после какого-то события, о котором никто не решался говорить. Вера сняла пальто, повесила его на крючок рядом с материнским и тут же пожалела: две вещи рядом выглядели слишком по-семейному, почти мирно, словно мать не умерла, а просто вышла в соседнюю комнату, оставив дочери место у двери.

Она заставила себя отвернуться от лестницы и пройти в гостиную. Дом принял её не приветствием, а молчаливым перечислением всего, что когда-то принадлежало её жизни и теперь было оставлено ей без спроса. Слева стоял старый книжный шкаф с мутным стеклом, где по-прежнему теснились тома в потёртых корешках: справочники по ботанике, сборники русской прозы, несколько медицинских брошюр, отцовский потрёпанный атлас морских течений, который Вера в детстве рассматривала часами, представляя, что каждая синяя линия на карте ведёт в другое, более безопасное место. У окна сохранилось кресло матери с жёсткой высокой спинкой, рядом на маленьком столике лежали очки, раскрытая книга и клубок серой шерсти, из которого торчали спицы. Всё было расставлено с той строгой аккуратностью, за которой всегда угадывалось напряжение, и Вера почти физически ощутила материнское присутствие, словно Ирина Морозова даже после смерти продолжала следить, чтобы в доме ничего не сдвинулось с положенного места.

Часы в гостиной тикали тише, чем она помнила. Большие настенные часы с потемневшим деревянным корпусом

достались семье от бабушки, и в детстве Вера часто боялась их ночного боя, потому что звук, раздававшийся в тишине, казался ей не отсчётом времени, а напоминанием о чём-то неизбежном. Сейчас стрелки показывали без десяти четыре, хотя её телефон уверял, что было только половина третьего. Она подумала, что часы давно сбились, но всё равно задержала взгляд на маятнике: он двигался ровно, упрямо, с каким-то старческим достоинством, будто не признавал ни смерти хозяйки, ни возвращения дочери, ни того факта, что в доме больше некому сверять по нему время.

Вера поставила чемодан у стены и прошла на кухню, где воспоминания ударили неожиданно сильнее, чем в гостиной. Здесь всё было слишком знакомым: облупившаяся эмаль раковины, старый стол у окна, деревянная хлебница, занавески с мелким синим узором, которые мать, видимо, так и не сменила за все эти годы. На подоконнике стояли два горшка с почти засохшей геранью, а рядом — маленькая баночка с морской солью, откуда Ирина Алексеевна всегда брала щепотку, когда готовила рыбу. Вера провела пальцами по краю стола и увидела, что на коже осталась тонкая серая пыль, но под этой пылью всё равно чувствовалась прежняя поверхность, гладкая, местами исцарапанная ножом, с тёмным кружком от горячей кастрюли, который появился ещё в её детстве.

На кухонном столе лежала записка.

Сначала Вера решила, что это квитанция или список

покупок, но, подойдя ближе, узнала материнский почерк. Несколько слов были написаны на обороте старого аптечного чека, сильно нажатými, неровными буквами, как будто Ирина писала их в спешке или в темноте. Вера взяла бумажку осторожно, почти с брезгливой тревогой, хотя не смогла бы объяснить, чего именно боится увидеть.

«Запереть верх. Не забыть до темноты».

Она перечитала фразу несколько раз, пока смысл не перестал быть бытовым и не стал по-настоящему неприятным. Запереть верх. Не дверь, не окна, не чердак, а именно верх, как будто второй этаж был не частью дома, а чем-то отдельным, способным проснуться, открыться или спуститься вниз, если его вовремя не удержать. Вера медленно положила записку обратно на стол и почувствовала, что руки у неё стали холодными.

Она вспомнила, как в детстве мать каждый вечер обходила дом перед сном. Проверяла окна, щеколды, выключатели, плиту, потом подходила к лестнице и запирала дверь на второй этаж. Тогда Вера думала, что это просто одна из материнских странностей, из тех навязчивых привычек, которые делают взрослых непонятными и иногда смешными. Но теперь, стоя в кухне после смерти матери, она ясно увидела в этих повторяющихся действиях не причуду, а страх, выдержанный годами, доведённый до ритуала и потому ставший почти незаметным.

Телефон в её кармане завибрировал, и Вера вздрогнула

сильнее, чем могла бы признать. Звонила нотариус.

— Вера Сергеевна, вы добрались? — спросила Ольга Павловна, и её голос, деловой и человеческий одновременно, на мгновение вернул Веру в реальность, где существуют документы, печати, рабочие часы и люди, не верящие в тёмные двери.

— Да, я уже в доме.

— Хорошо. Я договорилась с ритуальной службой, завтра утром вам нужно будет подъехать в больницу, затем ко мне. Свидетельство о смерти предварительно готово, но там потребуется ваша подпись. Похороны можно назначить на послезавтра, если вы согласны.

Вера смотрела в окно на мокрый сад. Голые яблони стояли, переплетаясь ветками, как старые пальцы, а за ними угадывалось серое пространство моря. Отсюда оно было не видно полностью, только движущаяся темнота между стволами, но его присутствие чувствовалось постоянно, как присутствие большого зверя за стеной.

— Да, — сказала она. — Назначайте.

— Вы одна в доме?

Вера медленно перевела взгляд на кухонную дверь, за которой начинался коридор и лестница.

— Одна.

На другом конце возникла короткая пауза, настолько незначительная, что её можно было бы не заметить, если бы Вера уже не научилась за эти сутки слышать в чужих паузах

больше, чем в словах.

— Тогда, пожалуйста, будьте осторожны. Дом старый, после смерти Ирины Алексеевны там могли отключать электричество, отопление работает нестабильно. Если захотите остановиться в гостинице, я могу позвонить.

— Спасибо, не нужно.

— Как скажете. И ещё, Вера Сергеевна... я понимаю, что сейчас не время, но в городе многие знали вашу мать. Могут приходить, спрашивать, предлагать помощь. Не всем стоит открывать.

— Что вы имеете в виду?

Ольга Павловна снова помолчала, и теперь пауза была слишком длинной, чтобы казаться случайной.

— Маленький город, — сказала она наконец. — Смерть одинокого человека всегда вызывает разговоры. Особенно когда речь идёт о доме Морозовых.

Вера почувствовала, как раздражение, до этого спрятанное под тревогой, медленно поднимается наружу.

— Что не так с домом Морозовых?

— Ничего, — слишком быстро ответила нотариус. — Просто место известное. Старое. На краю. Люди любят легенды, вы же понимаете.

Вера понимала, но именно поэтому ей стало ещё неприятнее. Легенда — удобное слово для всего, что не хочется называть слухами, страхом или правдой.

— Я завтра буду у вас, — сказала она.

После разговора кухня стала казаться ещё тише. Вера убрала телефон в карман, открыла кран и долго ждала, пока из него перестанет идти ржавая вода. Трубы глухо вздрагивали в стене, будто дом с трудом вспоминал, как пропускать через себя жизнь. Она помыла руки, хотя они были чистыми, потом налила чайник, поставила на плиту и зажгла газ. Маленькое синее пламя возникло с сухим щелчком, и этот простой бытовой звук почему-то подействовал успокаивающе. Пока есть огонь, вода, чай, телефон, документы и дела на завтра, мир ещё держится на привычных правилах.

Она нашла в шкафу чашку, ту самую, с тонкой трещиной у ручки, из которой мать пила чёрный чай без сахара. Вера достала другую, но всё равно долго смотрела на материнскую чашку, словно это была не посуда, а часть тела, оставшаяся после исчезновения человека. Ей вдруг стало стыдно, что она не приехала раньше. Не потому, что любила мать так, как положено любить, а потому, что смерть окончательно лишала её возможности задать вопросы, которые много лет казались опасными, унижительными или бессмысленными.

Почему ты так боялась второго этажа? Почему никогда не говорила об отце правду? Почему после той ночи в доме стало запрещено произносить некоторые слова? Почему ты смотрела на меня иногда так, будто я не дочь, а напоминание о чём-то страшном?

Чайник начал шуметь, и Вера выключила газ раньше, чем вода закипела. В доме снова что-то скрипнуло, теперь уже

где-то ближе к гостиной. Она замерла, прислушиваясь, но звук не повторился. Ветер, сказала она себе. Старые доски. Сырость. Всё в этом доме может звучать так, будто кто-то ходит, если достаточно долго стоять в тишине и ждать.

Ей нужно было занести чемодан в спальню.

В детскую она идти не хотела, хотя понимала, что мать, скорее всего, давно превратила её комнату в склад старых вещей. Гостевая спальня находилась на первом этаже, рядом с кабинетом отца, и Вера решила остановиться там. Это решение было практичным и взрослым, но в нём также было что-то от детской трусости: не подниматься наверх, если можно не подниматься.

Она вернулась в прихожую, взяла чемодан и ещё раз посмотрела на лестницу. Мокрый след на ступени почти исчез, оставив после себя только более тёмное пятно на древесине. Вера подняла взгляд выше, туда, где лестничный пролёт уходил в серый полумрак, и заметила, что дверь на второй этаж не заперта. Более того, она была чуть приоткрыта, хотя в детстве всегда закрывалась плотно, тяжело, с особым деревянным стуком, который Вера помнила лучше многих голосов.

Она подошла ближе и положила ладонь на перила. Дерево было холодным. Оттуда, сверху, пахло пылью, сырой тканью и чем-то свежим, почти морским, как будто окно на втором этаже действительно было открыто. Вера могла бы подняться и проверить. Могла бы доказать себе, что всё объяснимо: рама разболталась, дождь попал внутрь, вода стекла на лест-

ницу, отсюда и след. Простое действие, пять минут, ничего больше.

Но она не поднялась.

Вместо этого нашла в связке старый ключ, закрыла дверь на второй этаж и прислушалась к тому, как замок повернулся внутри дерева. Звук вышел негромким, но в тишине дома он прозвучал окончательно, почти торжественно. Вера почувствовала облегчение и сразу разозлилась на себя за это облегчение.

Она перенесла чемодан в гостевую спальню. Комната оказалась почти такой же, как прежде: узкая кровать у стены, шкаф с зеркальной дверцей, тёмный комод, на котором стояла засохшая ветка в стеклянной вазе, и маленькое окно, выходившее в сад. Когда-то здесь останавливалась бабушка, потом редкие гости, потом никто. Воздух был застоявшийся, с запахом старого белья и холодной пыли. Вера раскрыла чемодан, достала свитер, документы, косметичку, таблетки, но вещи не стала раскладывать по шкафам. Ей не хотелось оставлять в этом доме следы своего присутствия больше, чем необходимо.

Ближе к вечеру дождь усилился. Небо за окном стало темнеть не постепенно, а как-то сразу, будто кто-то незаметно опустил над городом тяжёлую серую ткань. Вера включила свет в кухне и гостиной, но лампы горели тускло, временами едва заметно подрагивая. Она позвонила в ритуальную службу, ответила на несколько рабочих сообщений, написа-

ла короткое письмо коллеге, что вынуждена уехать по семейным обстоятельствам, и всё это время чувствовала, как дом вокруг неё медленно наполняется вечерним напряжением.

Старые дома не любят сумерки. В них слишком много углов, где темнота появляется раньше, чем должна, слишком много поверхностей, в которых отражается не свет, а память. Вера ходила из комнаты в комнату, зажигая лампы, проверяя окна, закрывая форточки, словно повторяла тот самый материнский обход, которому в детстве придавала так мало значения. На кухне она нашла спички, свечи, батарейки, фонарик без крышки и несколько пачек соли в нижнем ящике. Соль была везде: в кухонном шкафу, на подоконнике, даже в маленькой миске возле задней двери. Это могло быть очередной странностью Ирины Алексеевны, бытовой привычкой одинокой пожилой женщины, но Вера слишком хорошо помнила, как мать иногда сыпала соль тонкой линией у порога после сильного ветра с моря.

Она не знала, что с этим делать, поэтому просто закрыла ящик.

В девять вечера позвонила соседка, представившаяся Валентиной Егоровной, хотя Вера смутно помнила её как тётю Валю из дома через дорогу. Голос у неё был высокий, осторожный, со старческой хрипотцой.

— Верочка, это я вам ключи оставляла. Вы добрались, милая?

Это «милая» прозвучало неожиданно мягко, и Вера по-

чувствовала, как у неё устало сжалось лицо. За день она услышала столько соболезнующих, осторожных, недоговорённых фраз, что простая человеческая интонация почти выбила её из равновесия.

— Да, спасибо. Я нашла ключ.

— Вы в доме сейчас?

— Да.

Валентина Егоровна вздохнула, и этот вздох донёсся сквозь трубку долгим шорохом.

— Я бы зашла, да ноги сегодня совсем не идут. Завтра после больницы загляните ко мне, я вам кое-что отдам. Ирина Алексеевна просила, если... если с ней что-то случится.

Вера медленно села на стул.

— Что отдать?

— Не по телефону, Верочка. Не люблю я это. Завтра приходите.

— Валентина Егоровна, кто мог прислать мне сообщение про шторм?

На другом конце стало тихо.

— Какое сообщение?

Вера пересказала фразу, стараясь говорить спокойно, но, когда произнесла её вслух, предупреждение снова стало живым.

Соседка долго молчала, и в этом молчании Вера услышала то же самое, что уже слышала в паузах нотариуса, киоскёрши, таксиста: не удивление, а узнавание.

— Вы сегодня наверх не ходите, — сказала наконец Валентина Егоровна. — Устали с дороги, переночуете внизу, а завтра уже всё посмотрите при свете.

— Почему все говорят со мной так, будто в этом доме что-то есть?

— Потому что в каждом доме что-то есть, когда в нём долго живут люди, — ответила соседка после паузы. — Только одни дома отпускают, а другие нет.

Вера закрыла глаза.

— Это звучит как местная страшилка.

— Может, и страшилка. Вам сейчас лучше чай попить и лечь. И дверь наверх закройте, если ещё не закрыли.

— Я закрыла.

— Хорошо, — сказала Валентина Егоровна так, будто это действительно имело значение. — Тогда до утра не открывайте, что бы там ни было.

Связь оборвалась прежде, чем Вера успела спросить, что именно она имеет в виду.

После этого дом стал казаться не просто старым и пустым, а внимательно ожидающим. Вера долго сидела на кухне, не включая телевизор, хотя пульт лежал рядом, и слушала, как дождь бьёт по стеклу. Мысли шли кругами, возвращаясь к одному и тому же: след на ступени, записка матери, сообщение с неизвестного номера, слова соседки. Она пыталась выстроить всё это в цепочку, пригодную для реальности, но реальность сопротивлялась, оставляя слишком много пустых

мест.

Ближе к полуночи ветер усилился. Дом начал звучать иначе: где-то в стенах тянуло низко и протяжно, на чердаке что-то перекатывалось, в окнах дрожали стёкла, а море за садом грохотало всё ближе, хотя Вера знала, что обрыв не мог подвинуться к дому за один вечер. Она приняла половину таблетки от бессонницы, запила водой из-под крана и легла в гостевой спальне, оставив в коридоре включённый свет.

Сон не приходил. Вера лежала на спине, смотрела на бледный прямоугольник двери и думала о том, что в детстве ночи в этом доме всегда были слишком длинными. В Москве ночь имела шум: машины, лифт, соседи, трубы, далёкие сирены. Здесь ночь состояла из дома и моря, и от этого казалась гораздо более плотной.

Где-то около трёх она всё-таки начала проваливаться в тяжёлое, мутное забытьё, когда в гостиной внезапно пробили часы. Один удар, потом второй, третий.

Вера открыла глаза. Часы били долго, с глухим металлическим звоном, который расходился по дому, проходил через стены и возвращался эхом из коридора. Она считала удары не сразу, а только после пятого, когда поняла, что их слишком много для ночного времени, но часы остановились на тринадцатом, и после этого в доме стало так тихо, будто даже ветер на мгновение отступил.

Вера села в кровати. Из коридора тянуло холодом. Свет, который она оставила включённым, почему-то погас, хотя в

спальне лампа у кровати всё ещё горела. Она потянулась за телефоном, посмотрела на экран и увидела время: 03:17.

Несколько секунд она просто смотрела на цифры.

Потом из глубины дома донёсся звук. Не громкий, не резкий, почти будничнй: кто-то медленно повернул ключ в замке двери на второй этаж. Вера сидела неподвижно, чувствуя, как холод поднимается от пола к коленям, а затем услышала, как старая дверь в коридоре приоткрылась с тихим, долгим скрипом, который она помнила с детства лучше, чем любой материнский голос.

Глава 4

Три семнадцать

Вера долго не двигалась, прислушиваясь к тому, как за дверью спальни меняется ночная тишина. Ещё несколько минут назад дом казался просто старым, продуваемым ветром, полным естественных звуков, которым можно было подобрать объяснение, если держаться за здравый смысл достаточно крепко, но после металлического щелчка замка всё изменилось. Звук был слишком точным, слишком осмысленным, чтобы принять его за работу дерева, за сквозняк или за старые трубы. Кто-то действительно повернул ключ в замке двери, ведущей на второй этаж, и теперь та дверь была открыта, хотя Вера своими руками закрыла её вечером и хорошо помнила сухой, окончательный звук, с которым язычок замка вошёл в паз.

Лампа у кровати горела слабым желтоватым светом, но дальше, за открытой дверью спальни, коридор тонул в темноте. Вера видела только край коврика, нижнюю часть стены и полоску пола, на которую падал свет из комнаты. Там не было ничего страшного, никакого силуэта, никакого движения, и именно это почему-то пугало сильнее. Если бы она увидела человека, вора, соседку, случайного пьяного, пробравшегося в дом, страх получил бы форму и стал бы чем-то, с чем можно разговаривать, спорить или от чего можно

защищаться. Но в коридоре было пусто, а где-то за этой пустотой, у лестницы, медленно и почти незаметно раскрывалась давно запертая часть дома.

Она потянулась к телефону, снова посмотрела на экран, будто цифры могли измениться и тем самым снять с неё обязанность верить собственным глазам, но время оставалось прежним: 03:17. Синеватый свет экрана делал её пальцы бледными, почти чужими. Несколько секунд Вера держала телефон в руке, думая, кому можно позвонить в такую ночь и что именно сказать. Что в доме умершей матери кто-то открыл дверь, которую она запирала? Что часы в гостиной пробили тринадцать раз? Что ей кажется, будто второй этаж проснулся? Любая формулировка выглядела нелепо, болезненно, недостойно взрослой женщины, которая привыкла решать проблемы через действия, а не через детский ужас.

Она набрала номер службы такси, который сохранился после дневной поездки, но связь не прошла. Телефон долго думал, потом показал одну тонкую полоску сети и сбросил вызов. Вера попробовала ещё раз, уже почти сердясь на себя за дрожь в пальцах, но результат был тем же. Тогда она открыла сообщения, нашла переписку с нотариусом, потом с Валентиной Егоровной, чей номер соседка прислала после их разговора, и несколько секунд смотрела на экран, не решаясь отправить хоть что-нибудь. Написать пожилой женщине ночью: «У меня открылась дверь наверх» — значило признать,

что она сама не справляется с домом, который ещё вчера казался ей всего лишь наследственным имуществом.

Из коридора донёсся тихий скрип.

Не шаг и не стук, а именно скрип двери, которая чуть сильнее подалась внутрь, будто под давлением медленного сквозняка. Вера почувствовала, как по коже у неё прошёл холод, и сразу же с раздражением заставила себя вдохнуть глубже. Она была в доме одна. Ключи от входной двери лежали на столике в прихожей. Все окна на первом этаже она проверила перед сном. Дверь на второй этаж, возможно, не закрылась до конца; старый замок мог провернуться сам, если дерево разбухло от сырости или если язычок не вошёл в паз. Часы могли сбиться от перепада напряжения. Усталость, дорога, смерть матери, странные разговоры местных жителей, сообщение про шторм — всё это могло сложиться в одну плотную, тревожную картину, где любой бытовой звук начинал казаться знаком.

Ей нужно было встать, дойти до коридора и включить свет. Эта мысль была простой и правильной, но тело не сразу подчинилось. Вера сидела в кровати, прислушиваясь к собственному дыханию, и вдруг с почти болезненной ясностью вспомнила, как в детстве мать говорила ей: если проснулась ночью и тебе кажется, что кто-то зовёт, не отвечай сразу. Тогда Вера думала, что это одна из странных материнских примет, как запрет свистеть в доме или оставлять зеркало ненавешенным во время грозы, но теперь это воспоминание

вернулось не как суеверие, а как инструкция, которую она когда-то выучила и намеренно забыла.

Она надела свитер поверх ночной футболки, сунула ноги в ботинки, не завязывая шнурки, и взяла со стола маленький фонарик, найденный вечером в кухонном ящике. Фонарик оказался почти бесполезным: светил узким, слабым пятном, дрожал на стенах и делал темноту вокруг ещё более густой. Вера вышла из спальни, стараясь двигаться спокойно, без той поспешности, которая выдала бы её страх даже пустому дому.

Коридор встретил её холодом. Свет, оставленный вечером, не горел, хотя выключатель был в прежнем положении; когда Вера нажала на него, лампа под потолком коротко мигнула и погасла окончательно. Из гостиной доносилось тиканье часов, ровное и слишком громкое, а за стенами шумел ветер, швыряя дождь в окна с такой силой, будто дом действительно стоял не на земле, а посреди чёрной воды.

Дверь на второй этаж была открыта примерно на ладонь. Вера остановилась в нескольких шагах от неё. В глубине лестницы было темно, но сверху, откуда-то из коридора второго этажа, тянулся слабый сероватый свет, не похожий ни на электрический, ни на свет маяка. Скорее это было рассеянное ночное свечение, какое бывает в комнате с незашторенным окном, если за окном лежит снег или море отражает тяжёлое небо. Оттуда пахло сыростью и старой тканью, но к этому запаху примешивался ещё один, едва различимый:

солёный, свежий, словно кто-то только что вошёл с улицы в мокрой одежде.

Она посветила фонариком на замок. Ключ торчал с внешней стороны, как она его и оставила, только теперь был повернут в другую сторону. Это выглядело невозможно. Если бы замок сорвался сам, ключ мог бы выпасть, провернуться, заклинить, но он был повернут аккуратно, почти до конца, как будто чья-то рука взялась за него с той стороны, где руки быть не могло.

Вера осторожно коснулась двери ладонью. Дерево было холодным, влажным, и в этом холоде ей почудилось не отсутствие тепла, а чьё-то недавнее прикосновение. Она закрыла дверь, резко повернула ключ и почти сразу услышала, как наверху, в глубине второго этажа, что-то тихо сдвинулось. Не упало, не ударилось, а именно сдвинулось с места, будто тяжёлый предмет по полу потянули на несколько сантиметров.

Вера отступила. В эту секунду в гостиной перестали тикать часы. Тишина, возникшая после этого, оказалась настолько плотной, что даже шум шторма за окнами на мгновение будто отдалился. Вера повернула голову в сторону гостиной и, сама не понимая, зачем, пошла туда. Её фонарик выхватывал из темноты знакомые предметы: край книжного шкафа, спинку кресла, материнские очки на столике, тёмный провал окна, в котором отражалось её собственное лицо. Часы висели на стене, как всегда, но маятник остановился, а стрелки показывали 03:17.

Она подошла ближе и несколько секунд смотрела на циферблат. Минутная стрелка стояла чуть ниже третьей отметки, часовая — между тремя и четырьмя, и в этом не было бы ничего особенного, если бы Вера не помнила, что вечером часы показывали неправильное время и отставали почти на час. Они не могли сами прийти к точному ночному часу. Не могли, если только кто-то не перевёл их после её ухода в спальню.

На нижней полке под часами лежала небольшая записная книжка в потрескавшейся коричневой обложке. Вера заметила её ещё вечером, но тогда решила не трогать материнские бумаги до утра. Теперь книжка лежала чуть выдвинутой, будто кто-то небрежно поставил её обратно или, наоборот, хотел, чтобы она бросилась в глаза. Вера взяла её и почувствовала под пальцами сухую шероховатость старой обложки. На первой странице было написано рукой матери: «Дом. Верх. Замки. Свет».

Слова были не названием дневника, а скорее пометкой для себя, такой же резкой и функциональной, как записка на кухне. Некоторые страницы испещряли странные повторения: «Проверить верх до темноты», «Не оставлять ключ внутри», «После ветра смотреть стены», «Если часы остановятся, не открывать». Вера листала дальше, и сердце у неё сжималось всё сильнее, потому что перед ней была не исповедь безумной женщины и не старческий бред, а система наблюдений, слишком последовательная, слишком многолет-

няя, чтобы отмахнуться от неё сразу.

На одной из страниц, примерно в середине книжки, стояла дата пятилетней давности. Под ней мать написала: «03:17. Снова шаги. Голос С. из-за верхней стены. Не отвечала». Вера несколько секунд смотрела на букву «С.», не позволяя себе назвать имя, которое всплыло в памяти само собой. Сергей Морозов. Отец. Человек, который, по официальной версии, ушёл к морю во время шторма и не вернулся.

Она закрыла книжку слишком резко, и звук хлопнувших страниц показался в пустой гостиной почти неприличным. Ей захотелось бросить эту вещь обратно на полку, как бросают предмет, от которого можно заразиться чужим страхом, но вместо этого она прижала записную книжку к груди и села в материнское кресло. Ткань под ней была холодной, жёсткой, и от неё пахло старой шерстью, лекарствами и чем-то горьким.

Вера не знала, сколько просидела так, глядя на остановившиеся часы. Минуты в доме словно потеряли привычную меру. В какой-то момент она услышала, как дождь стал слабее, но ветер продолжал ходить вокруг стен, длинными, низкими порывами. Потом в коридоре, возле двери на второй этаж, снова что-то щёлкнуло.

Она не встала. На этот раз страх был не острым, а глубоким, давящим, почти сонным. Вера смотрела в тёмный проём гостиной и пыталась вспомнить, что именно произошло после исчезновения отца. В её памяти было много разроз-

ненных вещей: мать, сидящая на кухне с сухими глазами; участковый в мокром плаще; соседки, говорящие шёпотом в прихожей; запах йода, которым кто-то смазывал Вере содранную коленку; мокрые сапоги отца, стоявшие у двери, хотя потом мать утверждала, что он ушёл в них. Но главного воспоминания не было. Ночь обрывалась на моменте, когда мать увела её от двери, а дальше начинался провал, густой и тёмный, как вода под обрывом.

Из коридора донёсся тихий звук, похожий на осторожный выдох. Вера сжала книжку сильнее. Она могла бы сказать себе, что это ветер прошёл через щель в раме, но в глубине души уже понимала: дом не просто шумит, он повторяет старые звуки, как больной человек повторяет одни и те же слова в бреду.

Ей нужно было уйти отсюда. Не завтра, не после похорон, не после документов, а сейчас, ночью, в гостиницу, к Валентине Егоровне, куда угодно, где стены не помнят её детства. Эта мысль пришла внезапно и показалась такой разумной, что Вера сразу встала, взяла телефон и попыталась снова поймать связь. У окна в гостиной появилась одна полоска, потом исчезла. На кухне сеть была чуть лучше; она набрала номер такси, но вызов оборвался. Тогда она написала Валентине Егоровне сообщение: «Вы не спите? Можно я приду к вам?»

Сообщение долго не отправлялось. Пока телефон пытался поймать сеть, Вера стояла у кухонного окна и смотрела

в сад. В темноте мокрые яблони казались низкими согнутыми фигурами, а за ними шевелилось море, хотя самого моря видно не было. В какой-то момент ей показалось, что возле калитки стоит человек. Высокая тёмная фигура почти сливалась с забором, и Вера сначала решила, что это ствол яблони или столб, на который она не обратила внимания днём. Но потом фигура чуть повернулась, и в слабом отражённом свете окна она различила лицо.

Неясное, бледное, обращённое к дому. Она отступила от окна так резко, что задела локтем чашку на столе. Чашка упала на пол и разбилась, звук оказался слишком громким для ночи, и именно после него телефон наконец коротко пискнул: сообщение отправлено.

Ответ пришёл почти сразу.

«Не выходите. Заприте двери. Я звоню Артёму».

Вера смотрела на эти слова, не понимая, кто такой Артём и почему соседка решила звонить именно ему. В следующую секунду снаружи, со стороны крыльца, раздался глухой стук. Кто-то постучал в дверь один раз, тяжело и спокойно, словно был уверен, что его услышат.

Вера медленно вышла из кухни в прихожую, оставив за спиной разбитую чашку, остановившиеся часы и телефон с открытым сообщением в руке. За входной дверью было тихо, только дождь стекал с крыши и ветер шуршал в мокрых ветках. Она не подошла близко, но увидела, как под дверью на старый половику медленно просачивается вода.

А потом снаружи раздался голос, мужской, низкий и незнакомый.

— Вера Сергеевна, не открывайте, пока я не назову, кто меня прислал. Меня зовут Артём Белов. Валентина Егоровна попросила проверить, всё ли у вас в порядке.

Она стояла, не двигаясь, и слушала этот голос так внимательно, будто от его интонации зависело больше, чем от смысла слов. Он звучал живым, усталым, слегка хриплым от ветра и холода, и в нём не было той ласковой пустоты, которую Вера помнила с детства.

— Отойдите от двери, — сказал он после короткой паузы, уже тише. — Если вы одна, сначала посмотрите в окно. Я подниму руки, чтобы вы видели.

Вера медленно подошла к боковому окну прихожей и отодвинула край шторы. На крыльце стоял мужчина в тёмной куртке с капюшоном, мокрый от дождя, высокий, широкоплечий, с лицом, которое в слабом свете казалось резким и сосредоточенным. Он действительно поднял руки, показывая, что не держит ничего опасного, но смотрел не на окно, а чуть выше, туда, где начинался второй этаж.

И только тогда Вера увидела, что одно из верхних окон в доме открыто настежь. Из него наружу вырывалась белая занавеска, которой днём, насколько она помнила, не было.

Глава 5

Дочь Ирины

Вера не сразу открыла дверь, хотя человек на крыльце назвал своё имя и стоял так, как обещал: в стороне от замка, под косыми струями дождя, с поднятыми руками и лицом, обращённым не к ней, а к верхним окнам дома. В этом странном, почти профессиональном спокойствии было что-то убедительное, но после всего, что произошло за ночь, Вера уже не доверяла ни голосам, ни жестам, ни собственному стремлению поскорее увидеть рядом живого человека. Она продолжала смотреть на него через узкую щель между шторой и стеной, замечая подробности, которые в другой ситуации показались бы несущественными: мокрые пряди тёмных волос у висков, тяжёлую куртку с нашивкой береговой службы, фонарь на ремне, грязь на ботинках, напряжённую линию плеч, по которой было видно, что он не просто пришёл по просьбе соседки, а уже заранее ожидал увидеть в этом доме нечто неприятное.

Верхнее окно оставалось открытым. Из тёмного проёма наружу вырывалась белая занавеска, её било ветром о раму, и от каждого удара по фасаду проходила едва заметная дрожь, будто дом раздражённо вздрагивал от прикосновения холодной мокрой ткани. Вера совершенно точно помнила, что вечером ни одно окно на втором этаже не было откры-

то, потому что она несколько раз поднимала взгляд к фасаду, стоя у калитки, и видела только мутные стёкла, серые занавески и чёрную влажную крышу. Белой занавески там тоже не было. Это могла быть ошибка памяти, конечно. Усталость, таблетка, дорога, смерть матери, всё то, чем легко объяснить почти любое искажение восприятия. Но объяснение не меняло главного: сейчас окно было распахнуто, а дверь на второй этаж открывалась сама, и в этом доме что-то продолжало двигаться, пока она убеждала себя, что всё можно разложить по полкам здравого смысла.

— Вера Сергеевна, — снова сказал мужчина с крыльца, не повышая голоса, но достаточно отчётливо, чтобы она услышала его сквозь дверь и шум дождя. — Я не буду входить, пока вы не разрешите. Валентина Егоровна сказала, что вы одна и что у вас что-то случилось. Если вам спокойнее, можете позвонить ей при мне.

Она машинально посмотрела на телефон. Связь всё ещё была слабой, но сообщение от соседки висело на экране, короткое и странно уверенное: «Откройте Артёму. Только ему». Вера перечитала эти три слова и почувствовала не облегчение, а новую тревогу. Только ему. Так пишут не о человеке, который случайно оказался рядом и может помочь починить замок, а о том, кому заранее отведена определённая роль в чужой, давно начавшейся истории.

Она подошла к двери, но не сняла цепочку сразу. Голос, который прозвучал из неё, оказался хриплым, будто она дол-

го молчала или кричала во сне.

— Кто вы?

За дверью мужчина помолчал так недолго, что эта пауза не выглядела ни растерянностью, ни попыткой придумать ответ.

— Артём Белов. Работаю в береговой охране, иногда помогаю Валентине Егоровне, когда у неё что-то случается по дому. Она позвонила и сказала, что вы написали ей ночью.

— Почему она позвонила именно вам?

— Потому что я ближе всех был на смене и потому что она знала, что я приеду.

Этот ответ ничего не объяснял и одновременно звучал слишком естественно для маленького города, где люди годами выстраивают невидимые сети обязательств, доверия, старых услуг и молчаливых долгов. Вера сняла цепочку, повернула ключ и отступила назад, всё ещё удерживая дверь так, чтобы открыть её не полностью. В коридор ворвался холодный воздух, запах мокрой земли, моря и мужской одежды, пропитанной дождём.

Артём Белов оказался выше, чем показался из окна. Вблизи его лицо было не столько красивым, сколько запоминающимся: резкие скулы, тёмные брови, внимательные серые глаза, в которых не было ни сочувственной мягкости, ни любопытства, свойственного людям, пришедшим посмотреть на чужую беду. Он оценил Веру быстрым, почти незаметным взглядом, задержался на её бледном лице, на теле-

фоне в руке, на мокром пятне у порога, потом снова поднял глаза к лестнице, хотя из прихожей второго этажа видно не было.

— Вы звонили в полицию? — спросил он.

— Нет.

— Есть следы взлома, чужие вещи, пропажа денег или документов?

— Я не знаю, — ответила Вера, чувствуя раздражение от того, как спокойно и практично он задаёт вопросы. — Я приехала только сегодня, точнее уже вчера. В доме умерла моя мать, и я пока не успела провести инвентаризацию.

Артём принял эту резкость без видимой реакции. Он снял капюшон, но не сделал ни шага внутрь, ожидая её разрешения, и эта выдержанная осторожность почему-то действовала сильнее любых уговоров.

— Можно войти?

Вера отступила.

Он переступил порог, снял мокрые ботинки, поставил их на старый половик и только после этого прошёл дальше, будто был здесь уже не впервые и знал, насколько Ирина Морозова не любила грязь в прихожей. Эта мелочь неприятно кольнула Веру. За десять лет её отсутствия дом, мать, соседи и даже этот незнакомый мужчина продолжали существовать в какой-то общей жизни, из которой она сама давно выпала, но в которую теперь её втягивали обратно не как хозяйку, а как человека, явившегося слишком поздно.

— Вы были знакомы с моей матерью? — спросила она.

Артём взглянул на пальто Ирины Алексеевны, всё ещё висевшее на крючке рядом с Вериним.

— В городе все её знали.

— Это не ответ.

— Иногда я подвозил её из больницы, пару раз помогал с окнами перед штормом. Она не любила принимать помощь, так что знакомством это назвать трудно.

Он говорил ровно, но Вера уловила в этой ровности что-то нарочитое. Как будто он выбирал слова заранее, обходя те, которые могли повести разговор туда, куда сейчас идти не стоило.

— Валентина Егоровна сказала, что вы можете помочь.

— Она сказала, что нужно приехать, — уточнил Артём.

— Это не одно и то же.

Он наконец повернулся к лестнице. Дверь на второй этаж, которую Вера, как ей казалось, снова заперла после ночного щелчка, теперь была закрыта, но ключ в замке торчал под небольшим углом, словно его повернули не до конца. На полу возле порога темнела тонкая полоска воды. Артём заметил её сразу, присел, провёл пальцами по древесине и поднёс руку к свету.

— Солёная, — сказал он скорее себе, чем ей.

— Что?

— Вода. Похожа на морскую.

Вера хотела возразить, что в доме у моря вода легко может

пахнуть солью, особенно во время шторма, но не сказала. Артём поднялся, взял с пояса фонарь и направил луч вверх, вдоль щели между дверью и косяком. Свет был сильным, белым, и в нём старое дерево показалось ещё более ветхим, чем днём. На уровне плеча, чуть выше замка, Вера увидела несколько глубоких царапин, которых раньше не замечала. Они шли изнутри наружу, будто кто-то долго и настойчиво пытался провести по дереву острым металлическим предметом.

— Это было? — спросил Артём.

Вера сглотнула.

— Я не знаю.

— Вы поднимались наверх после приезда?

— Нет.

Он посмотрел на неё, и в его взгляде на секунду появилось что-то похожее на удивление, слишком быстро скрытое.

— Совсем?

— Совсем, — ответила Вера. — Я не обязана сразу обходить весь дом, если приехала хоронить мать.

— Не обязаны.

Он сказал это спокойно, без нажима, но от его спокойствия ей стало ещё неприятнее. Вера вдруг почувствовала, что между ними уже существует неравенство: он знает о доме больше, чем она, хотя дом принадлежит ей; он знает, как в нём двигаться ночью, куда смотреть, каких звуков опасаться, а она стоит в собственной прихожей с ощущением гостьи,

которой не выдали правила.

— Что здесь происходит? — спросила она.

Артём не ответил сразу. Он подошёл к окну прихожей, снова посмотрел на второй этаж снаружи, затем перевёл взгляд на часы в гостиной, видневшиеся через открытую дверь. Стрелки всё ещё показывали 03:17, хотя времени уже было ближе к четырём.

— Сначала надо закрыть окно наверху, — сказал он. — Если дождь зальёт комнату, потолок потом поведёт, и вы получите ещё одну проблему помимо всех остальных.

— Вы говорите так, будто это главная проблема.

— Главная проблема обычно та, которую можно решить прямо сейчас.

Эта фраза, сухая и почти грубая, внезапно вернула Веру опору. Не потому, что он был прав, а потому, что в его голосе не было мистической многозначительности, к которой за последние сутки, казалось, сводились все разговоры в городе. Он не произносил слов «дом», «шторм», «верх» так, будто за ними стоит проклятие. Он говорил о потолке, окне и воде, и эта практичность на несколько секунд позволила ей дышать ровнее.

— Я пойду с вами, — сказала она.

— Не нужно.

— Это мой дом.

— Именно поэтому вам лучше остаться внизу.

Вера усмехнулась, но усмешка вышла тонкой и злой.

— Вы правда думаете, что после всего, что я сегодня услышала, я позволю незнакомому мужчине одному подняться на второй этаж моего дома?

Артём посмотрел на неё внимательно, и в этом взгляде на мгновение исчезла вся деловая собранность. Он будто хотел сказать: «Я не знакомый этому дому», но произнёс другое.

— Тогда держитесь позади и не трогайте ничего, пока я не посмотрю.

— Вы всегда так разговариваете с людьми?

— Только когда они открывают дверь в четыре утра, а на втором этаже у них распахнуто окно во время штормового предупреждения.

Он повернул ключ. Замок поддался с трудом, скрипнул, и дверь на второй этаж медленно открылась внутрь. Из-за неё сразу потянуло холодом, таким плотным и влажным, что Вера невольно отступила на полшага. В этом холоде действительно был запах моря, но не тот живой, широкий запах берега, который она помнила с детства, а затхлая солёность водорослей, выброшенных на камни и забытых там до гниения.

Артём поднялся первым, светя фонарём перед собой. Вера пошла за ним, держась за перила. Дерево под пальцами было влажным. На середине лестницы она увидела место, где днём был мокрый след, но теперь пятно почти исчезло, оставив только тёмную неправильную тень в древесине. Артём тоже заметил его, но ничего не сказал.

Второй этаж встретил их запахом пыли, сырости и старой

ткани. Луч фонаря скользнул по коридору, по закрытым дверям комнат, по выцветшим обоям, по длинной дорожке на полу, которой Вера не помнила. Всё здесь казалось одновременно знакомым и чужим. В детстве коридор был длиннее, светлее, шумнее, полным дневных звуков, маминых шагов, отцовского смеха, её собственного детского бега. Теперь он выглядел так, будто всё это время не ждал никого, а просто медленно старел в одиночестве, собирая в себе холод.

Открытое окно находилось в комнате справа, той самой, где когда-то стояли коробки с отцовскими вещами. Дверь туда была приоткрыта. Артём осторожно толкнул дверь плечом, направил внутрь фонарь и вошёл первым.

Комната оказалась почти пустой. У дальней стены стоял старый шкаф, у окна — узкая тумба, на полу валялись намокшие куски бумаги, которые ветер, видимо, сорвал со стола или полки. Окно било створкой о раму, впуская дождь и тяжёлый воздух ночи. Артём быстро подошёл к нему, поймал створку, осмотрел щеколду и только потом закрыл. В комнате сразу стало тише, но тишина не успокоила Веру. Наоборот, когда ветер перестал рваться внутрь, она услышала другой звук — едва различимое поскрипывание где-то за стеной, словно в соседнем помещении кто-то медленно переступил с ноги на ногу.

Артём тоже услышал. Его рука с фонарём задержалась в воздухе, но он не обернулся резко, не выдал себя испугом, только чуть изменил положение тела, встав так, чтобы ока-

заться между Верой и дверью.

— Здесь кто-то есть? — прошептала она, хотя шёпот в этой комнате показался ей глупым и детским.

— В старом доме может быть кто угодно, от кошки до человека без мозгов, который решил переждать дождь на чужом чердаке.

— У нас нет чердака с отдельным входом.

— Тогда остаётся кошка.

Он сказал это почти спокойно, но Вера уже поняла, что сам он не верит в кошку. Луч фонаря прошёлся по стене, задержался на старых фотографиях, которые стояли на тумбе изображением вниз. Артём перевернул одну из них, и Вера увидела снимок, сделанный много лет назад на берегу: отец держит её маленькую на руках, мать стоит рядом, чуть в стороне, в светлом плаще, с лицом, которое на фотографии кажется спокойным только на первый взгляд. За их спинами виден маяк и серое море, а в правом углу снимка, там, где начиналась линия обрыва, стоял человек.

Вера наклонилась ближе.

Фигура была смазанной, почти случайной, как часто бывает на старых фотографиях, но в её очертаниях было что-то странно знакомое. Высокий мужчина в тёмной одежде стоял слишком далеко, чтобы разглядеть лицо, и всё же Вере показалось, что он смотрит прямо на неё, маленькую, смеющуюся, ничего ещё не знающую.

— Кто это? — спросила она.

Артём взял фотографию у неё из рук, посмотрел и слишком быстро положил обратно.

— Не знаю.

— Вы даже не рассмотрели.

— Снимок старый. Тут полгорода могло случайно попасть в кадр.

— Вы врёте?

Он повернулся к ней медленно. В свете фонаря его лицо казалось более жёстким, чем в прихожей.

— Пока нет.

Ответ был настолько неожиданным, что Вера не сразу нашла, что сказать. Где-то за стеной снова послышалось то же осторожное поскрипывание, и на этот раз оно перешло в тихий стук, будто деревянная поверхность один раз ударилась о другую. Артём направил фонарь в коридор.

— Нам лучше спуститься, — сказал он.

— Почему?

— Потому что окно закрыто, а искать ночью источник каждого звука в этом доме — плохая идея.

— Вы говорите как человек, который уже пробовал.

Он ничего не ответил, и это молчание оказалось красноречивее признания. Вера почувствовала, как внутри неё, поверх страха, поднимается упрямство. Всю жизнь ей говорили не смотреть, не спрашивать, не открывать, не подниматься, не трогать. Мать делала это с холодной яростью, соседи — с суеверной осторожностью, теперь этот человек, появившийся

ся из дождя по звонку Валентины Егоровны, говорил то же самое и явно считал, что имеет право решать, сколько правды она выдержит.

— Я хочу увидеть остальные комнаты, — сказала Вера.

— Сейчас не время.

— А когда время? Утром? После похорон? После того как мне снова скажут, что люди любят легенды?

Артём смотрел на неё долго. Потом перевёл взгляд в конец коридора, туда, где в детстве была глухая стена с выцветшими обоями. Луч его фонаря скользнул туда на мгновение, и Вера успела увидеть только тусклую поверхность стены, тёмное пятно у плинтуса, облупившийся край старого багета. Никакой двери там не было. Конечно, не было. И всё же в груди у неё стало тесно от одного только взгляда в тот конец коридора.

— Утром, — сказал Артём наконец. — Если захотите, я приду утром и помогу всё осмотреть при свете. Сейчас вы устали, а дом после смерти человека всегда кажется опаснее, чем есть.

— Вы сами в это верите?

— Я верю, что усталые люди видят больше, чем могут потом объяснить.

— Это не ответ.

— Да.

Они спустились молча. Внизу дом казался чуть более реальным: кухонный свет, разбитая чашка на полу, мокрые бо-

тинки у порога, телефон на столе, в котором уже мигали новые сообщения от Валентины Егоровны. Артём закрыл дверь на второй этаж, проверил замок, потом попросил у Веры кусок ткани и вытер воду у порога, будто простые действия могли вернуть вещам порядок.

— Вы не останетесь здесь одна, — сказал он, когда закончил.

Вера подняла голову.

— Простите?

— Не сегодня. Я отвезу вас к Валентине Егоровне или в гостиницу.

— А если я откажусь?

— Тогда я посижу на крыльце до утра.

Он сказал это без вызова, как человек, уже принявший решение и не считающий нужным доказывать его логичность. Вера хотела возмутиться, но сил на спор внезапно не осталось. Внутри всё дрожало от усталости, холода, недосыпа и слишком большого количества совпадений, которые переставали быть совпадениями, если смотреть на них подряд.

— Почему? — спросила она тихо. — Почему вы вообще вмешиваетесь?

Артём долго смотрел на закрытую дверь наверх. Потом сказал, не поворачиваясь к ней:

— Потому что в этом доме однажды уже не успели вовремя вывести ребёнка.

Вера почувствовала, что воздух в прихожей стал плотнее.

— Что это значит?

Он не ответил сразу. Снаружи дождь стал слабее, и в наступившей после него влажной тишине море за домом было слышно особенно отчётливо, как далёкое дыхание огромного спящего существа.

— Это значит, что вам нужно взять документы, тёплые вещи и уехать отсюда до утра, — сказал Артём. — Всё остальное можно обсудить завтра.

Вера посмотрела на него, потом на дверь второго этажа, потом на материнское пальто в прихожей. Ей вдруг показалось, что дом слушает их разговор с тем холодным, терпеливым вниманием, с каким иногда слушают не слова, а решение.

Она уже хотела согласиться, когда сверху, из глубины запертого этажа, донёсся звук падающего предмета. Не громкий обвал и не скрип, а короткий, глухой удар, после которого по потолку над ними медленно прокатилось что-то круглое, остановилось примерно над прихожей и больше не двигалось.

Артём замер.

Вера подняла глаза к потолку.

Несколько секунд они оба молчали, и в этом молчании Вера впервые почувствовала, что он боится не меньше её, просто умеет держать страх глубже.

Потом из-за закрытой двери на второй этаж тихо, почти ласково, прозвучал женский голос, похожий на голос её ма-

тери:

— Верочка, ты приехала.

Глава 6.

Второй этаж

Женский голос, донёсшийся сверху, был настолько похож на голос Ирины Морозовой, что Вера в первые мгновения даже не испугалась по-настоящему. Страх пришёл чуть позже, не резким ударом, а медленным, ледяным пониманием: этот голос не мог звучать в доме, потому что женщина, которой он принадлежал, уже лежала в холодном помещении районной больницы, среди чужих простыней, металлических каталок и людей, для которых смерть давно стала частью ежедневного порядка.

Артём стоял рядом, чуть впереди неё, и Вера видела только его плечо, напряжённую линию шеи и руку, в которой он сжимал фонарь. Он не повернулся к ней, не сказал ничего успокаивающего, не сделал того, что обычно делают люди, когда сталкиваются с чужой истерикой или необъяснимым звуком в старом доме. Он просто замер и смотрел на дверь, ведущую на второй этаж, так, будто ждал не продолжения, а подтверждения того, что и без того знал слишком давно.

— Вы слышали? — спросила Вера, хотя по его молчанию уже поняла ответ.

Артём медленно опустил фонарь, и луч света скользнул по полу прихожей, выхватил мокрые ботинки, материнское пальто на крючке, край старого половика и тонкую блестя-

щую полоску воды возле порога на лестницу. Вера вдруг подумала, что если сейчас он скажет «нет», если назовёт это ветром, трубами, деревом, эхом, ей придётся выбирать между его ложью и собственным рассудком.

— Слышал, — ответил он наконец.

Это короткое признание не принесло облегчения. Наоборот, оно сделало происходящее плотнее, реальнее, словно до этого голос мог оставаться внутри её усталости, внутри воспоминаний, внутри того болезненного состояния, в которое человек проваливается после бессонной дороги и известия о смерти матери. Теперь же он принадлежал не только ей. Его услышал другой человек, живой, трезвый, стоящий рядом в мокрой куртке, и от этого дом будто получил право на существование в их общей реальности.

За закрытой дверью наверх снова стало тихо. Ни шагов, ни скрипа, ни женского голоса. Только море глухо билось о камни за садом, и этот звук, казалось, поднимался по стенам, проходил сквозь балки, через половицы, через воздух, в котором ещё висела фраза, произнесённая мёртвым материнским голосом: «Верочка, ты приехала».

— Это невозможно, — сказала Вера, но прозвучало это не как утверждение, а как просьба.

Артём повернулся к ней. В слабом свете прихожей его лицо казалось более усталым, чем раньше; на ресницах и висках всё ещё держались капли дождя, а в глазах было то напряжённое внимание, с каким смотрят не на испуганного че-

ловека, а на ситуацию, в которой любое неверное движение может иметь последствия.

— В этом доме лучше не отвечать, когда вас зовут сверху,
— сказал он.

Вера почувствовала, как внутри поднимается злость, внезапная и почти спасительная. Ей нужно было зацепиться за что-то человеческое, простое, понятное, и раздражение оказалось единственным чувством, которое ещё подчинялось ей.

— Все в этом городе говорят загадками, как будто заранее договорились. Нотариус делает паузы, соседка велит закрыть дверь наверх, вы приезжаете ночью и говорите так, будто знаете правила, но не считаете нужным объяснить мне ни одного. Это дом моей матери, теперь, насколько я понимаю, мой дом, и я имею право знать, почему все ведут себя так, словно я не вернулась после похорон, а вошла на запретную территорию.

Артём выслушал её без возражений. Возможно, в другой ситуации это молчание показалось бы ей холодным или высокомерным, но теперь она вдруг увидела, что он не спорит не потому, что считает её истерику неважной. Он просто выбирает, какую часть правды можно произнести в три часа ночи в доме, где только что заговорил голос умершей женщины.

— Вы имеете право знать, — сказал он после паузы. — Но не здесь и не сейчас.

— Почему?

— Потому что этот дом любит внимание.

Сказав это, он будто сам пожалел о выбранных словах. Вера заметила, как у него напряглась челюсть, словно фраза вырвалась раньше, чем он успел придать ей более разумную форму. Но было поздно. Слова уже прозвучали, и они оказались страшнее всех осторожных недомолвок, потому что впервые кто-то назвал дом не местом, не наследством, не старым строением на краю обрыва, а чем-то способным хотеть.

— Что значит «любит внимание»? — спросила Вера тише.

Артём поднял взгляд к потолку, туда, где над прихожей находился коридор второго этажа. Некоторое время он молчал, и Вера успела услышать, как в кухне тихо потрескивает капля воды, падая с края разбитой чашки на пол, как за окном дождь становится реже, как где-то в стене, возможно, за старой трубой, шевелится ветер.

— Чем больше вы пытаетесь понять его ночью, тем больше он вам показывает, — сказал он наконец. — А потом вы уже не всегда можете отличить, что увидели сами, а что вам дали увидеть.

Вера смотрела на него, пытаясь решить, безумен ли он, лжёт ли, повторяет ли чужие суеверия или говорит о чём-то пережитом лично. Самым неприятным было то, что в его голосе не было ни театральности, ни мистического упоения. Он говорил так же, как говорил бы о тонком льде, неисправ-

ной проводке или штормовом течении возле берега: не чтобы напугать, а чтобы предупредить.

Сверху снова донёлся слабый звук. На этот раз не голос, а короткое движение, будто что-то мягкое соскользнуло по полу и остановилось у самой двери. Артём сразу шагнул ближе, но не открыл. Он только приложил ладонь к дереву, почти не касаясь, и Вера увидела, как изменилось его лицо. Не испугалось, нет. Скорее стало внимательным до болезненности, как у человека, который вслушивается в знакомую мелодию и боится узнать её с первых нот.

— Что там? — спросила она.

— Не знаю.

— Но вы думаете, что знаете.

Он убрал руку от двери.

— Я думаю, что вам нужно уйти отсюда до утра.

Вера посмотрела на материнское пальто, на лестницу, на закрытую дверь, на капли дождя, оставленные Артёмом на полу, и вдруг почувствовала, как усталость накрывает её тяжёлой волной. Ей хотелось сесть прямо на пол, закрыть лицо руками и перестать быть человеком, от которого требуют решений. Смерть матери ещё не успела стать горем, а уже превратилась в цепь действий: приехать, подписать, забрать, похоронить, оформить, решить, продать. И поверх этого, как тёмная вода поверх тонкого льда, поднималось что-то другое: старый дом, голоса, следы, часы, материнские записи, чужие предупреждения и мужчина, который стоял в её при-

хожей.

— Я не могу просто уехать, — сказала она. — У меня завтра морг, нотариус, похороны. Здесь документы матери, вещи, завещание, этот дом. Я не могу бежать из него, потому что ночью кто-то или что-то произнесло моё имя.

— Можете, — ответил Артём. — Люди часто не уезжают только потому, что им кажется, будто бегство делает страх настоящим.

Эта фраза задела её точнее, чем он мог знать. Вера всю жизнь строила себя как человека, который не бежит, а выбирает дистанцию; не боится, а закрывает тему; не избегает прошлого, а просто не считает его достойным своего времени. Но сейчас, стоя в прихожей дома, где каждая вещь возвращала её к детству, она вдруг ясно поняла, что все эти годы не преодолевала страх, а лишь держала его на расстоянии километров, работой, Москвой, чужими квартирами, случайными связями, бесконечной занятостью. И стоило ей вернуться, как страх оказался на прежнем месте, терпеливый и ничуть не постаревший.

— Хорошо, — сказала она после долгого молчания. — Я уеду до утра. Но сначала вы объясните мне, почему Валентина Егоровна написала «только ему».

Артём опустил взгляд, и Вера увидела, что этот вопрос попал в точку. Он мог бы отмахнуться, повторить, что сейчас не время, но вместо этого прошёл в кухню, поднял с пола крупные осколки разбитой чашки и положил их на стол.

Это движение было странно бережным, почти домашним, как будто он не хотел оставлять в этом доме раны даже от такой мелочи.

— Потому что я уже заходил сюда ночью, — сказал он. — Не сегодня. Несколько лет назад.

Вера медленно вошла следом и остановилась у двери. Свет на кухне был слишком жёлтым, слишком слабым, и от этого лицо Артёма казалось не живым, а написанным на старой фотографии. За окном ветви яблонь шевелились в темноте, и иногда в стекле отражался не сад, а их собственные фигуры: она — бледная, с распущенными волосами, он — мокрый, напряжённый, чужой и одновременно почему-то слишком связанный с этим домом.

— Зачем?

— Ирина Алексеевна позвала. У неё было плохо с сердцем, по крайней мере она так сказала Валентине Егоровне. Скорая тогда ехала долго из-за метели, и я оказался ближе. Когда я вошёл, она сидела вон там, у стола, в пальто и сапогах, хотя в доме было тепло. На столе лежали ключи, соль, свеча и кухонный нож. Она была в сознании, но всё время просила меня не подниматься наверх, даже если я услышу ребёнка.

Слово «ребёнка» заставило Веру почувствовать, как внутри у неё всё обрывается.

— Какого ребёнка?

Артём посмотрел на неё, и в его взгляде снова мелькну-

ло то самое колебание: сказать или отложить, открыть дверь словами или удержать её закрытой хотя бы до рассвета.

— Я не знаю, — ответил он. — Я тогда тоже спросил. Она сказала, что дом иногда ошибается возрастом.

Вера медленно села на стул. Ноги стали ватными, как после долгой болезни. Мать сидела здесь, в пальто и сапогах, с ножом, солью и свечой, и просила взрослого мужчину не подниматься наверх, если он услышит ребёнка. Эта картина была настолько нелепой и страшной, что не укладывалась ни в одну удобную версию: ни в безумие, ни в суеверие, ни в старческую тревожность.

— И вы слышали? — спросила она.

Артём не сразу ответил. Он подошёл к окну, посмотрел во двор, потом задернул штору, как будто темнота снаружи могла видеть их слишком хорошо.

— Да.

Вера ждала продолжения, но он молчал. И в этом молчании она вдруг поняла, что не хочет знать подробности. Не сейчас. Не ночью. Не в кухне, где всё ещё пахло материнским чаем и разбитой керамикой. Но желание не знать оказалось слабее потребности понять.

— Что именно?

— Девочка плакала на втором этаже и звала мать. Голос был такой настоящий, что я почти поднялся, хотя Ирина Алексеевна держала меня за рукав и говорила, что там никого нет. Я был уверен, что она не в себе. Потом свет погас,

дверь наверх открылась сама, и я увидел на лестнице мокрые следы. Маленькие. Детские. Они спускались сверху и обрывались на середине ступеней.

Вера закрыла глаза, но это не помогло. Перед внутренним взглядом сразу возникла лестница, тёмное дерево, следы босых ног, которые не доходят до конца, словно ребёнок исчезает прежде, чем успевает спуститься вниз. Ей стало холодно, хотя кухня была самой тёплой комнатой в доме.

— Почему вы не рассказали полиции?

— Что именно я должен был рассказать? Что пожилая женщина с больным сердцем испугалась звуков в старом доме, а я увидел мокрые следы во время метели? В Североморске и без этого достаточно историй, которые люди пересказывают шёпотом, пока не появляется повод сделать вид, что они никогда в них не верили.

— Но вы поверили.

Артём усмехнулся, но без улыбки.

— Не сразу.

Сверху, над кухней, тихо скрипнула половица. Вера и Артём одновременно подняли глаза к потолку. Звук был далёким, почти неясным, и всё же в нём ощущалась та же размеренность, что в детском воспоминании Веры о ночи исчезновения отца. Дом словно напоминал им, что обсуждать его можно только до определённой черты.

— Нам надо уходить, — сказал Артём.

На этот раз Вера не спорила. Она пошла в гостевую спаль-

ню, быстро, но без суеты, достала из чемодана документы, тёплый свитер, зарядку, таблетки и положила всё в сумку. Вещей было мало, но каждое движение давалось странно тяжело, будто дом удерживал её физически, наполняя воздух вязкостью, через которую трудно было двигаться. Она поймала себя на том, что прислушивается к потолку, к коридору, к тишине за дверью на второй этаж, и попыталась сосредоточиться на простых действиях: закрыть чемодан, выключить лампу, проверить паспорт, взять ключи.

Когда она вернулась в прихожую, Артём стоял у двери и говорил по телефону с Валентиной Егоровной. Связь прерывалась, но Вера услышала отдельные слова: «да, вывожу», «нет, не поднимались», «окно закрыл», «до рассвета пусть будет у вас». Всё это звучало буднично и оттого почти абсурдно, как разговор о бытовой аварии, которую нужно переждать у соседей.

— Валентина Егоровна ждёт, — сказал Артём, убирая телефон. — Она живёт через дорогу, идти недалеко. Машину лучше не заводить, дорогу размыло у поворота, да и смысла нет.

Вера кивнула и взяла пальто. Уже выходя, она обернулась. Дом изнутри выглядел неподвижным и почти обычным: прихожая, лестница, закрытая дверь наверх, слабый свет на стенах, материнское пальто. Но теперь в этой обычности было что-то притворное, как в лице человека, который слишком хорошо умеет молчать.

— Подождите, — сказала она.

Артём остановился. Вера подошла к лестнице, вынула ключ из замка двери на второй этаж и положила его в карман. Это было бессмысленное, почти детское действие, но ей хотелось сделать хоть что-то, что принадлежало бы ей, а не дому. Артём не стал возражать, только внимательно посмотрел на её руку, когда она сжала ключ сквозь ткань пальто.

Они вышли на крыльцо. Дождь стал мелким, но ветер оставался сильным, и воздух был полон солёной влаги. Вера закрыла входную дверь, повернула ключ и несколько секунд держала ладонь на холодном металле замка. Ей казалось, что за дверью дом продолжает стоять слишком близко, почти прижавшись к её спине, хотя между ними уже была деревянная преграда.

Дорога к дому Валентины Егоровны проходила вдоль забора и дальше через узкий переулок, где под ногами чавкала размокшая земля. Артём шёл рядом, не касаясь её, но держался так, чтобы в случае чего оказаться между Верой и домом. Это молчаливое положение его тела было внимательнее любой заботы, и Вера, несмотря на усталость и страх, отметила это с внутренним сопротивлением. Ей не хотелось быть защищаемой, особенно человеком, который знал о её прошлом больше, чем должен был.

На середине дорожки она обернулась. Дом Морозовых стоял за мокрыми деревьями тёмный, высокий, с чёрными окнами первого этажа и одним бледным прямоугольником

наверху. Окно, которое Артём закрыл, теперь снова было закрыто, но за стеклом, в комнате второго этажа, горел слабый свет. Не электрический, не ровный, а тусклый, желтоватый, словно внутри стояла лампа с мутным абажуром или свеча, защищённая от ветра чьей-то ладонью.

Вера остановилась.

— Я выключила свет наверху, — сказала она.

Артём тоже обернулся, но не ответил. По его лицу было видно, что он видит то же самое. За стеклом на мгновение появилась фигура женщины. Нечёткая, почти прозрачная за дождём и расстоянием, но узнаваемая настолько, что Вера почувствовала, как у неё немеют пальцы.

Фигура стояла у окна, чуть склонив голову, и смотрела им вслед. А потом медленно подняла руку, будто прощаясь или зовя обратно. Вера не помнила, как Артём взял её за локоть и повёл дальше. Она шла по мокрой дороге, слыша только собственное дыхание и далёкое море, и думала о том, что впервые за много лет увидела мать не во сне, не в памяти, не в старой фотографии, а в окне дома, из которого они только что ушли.

Глава 7

Валентина Егоровна

Дом Валентины Егоровны стоял через дорогу от усадьбы Морозовых, но в ту ночь это короткое расстояние показалось Вере почти переходом из одного мира в другой. Между двумя домами не было ничего особенного: размокшая земля, старый деревянный забор, несколько голых кустов сирени, узкая тропинка, по которой, вероятно, десятилетиями ходили соседи друг к другу за солью, новостями, лекарствами и чужим участием. Но после того, как она увидела в верхнем окне материнскую фигуру, вся привычная геометрия улицы нарушилась. Расстояния стали неверными, темнота — гуще, дождь — холоднее, а старый дом за спиной будто продолжал смотреть ей вслед всеми окнами сразу.

Артём держал её за локоть не крепко, но достаточно уверенно, чтобы Вера чувствовала его присутствие рядом. Он ничего не говорил, и это молчание раздражало и одновременно удерживало её от паники. Ей хотелось спросить, видел ли он женщину в окне так же ясно, как она, и в то же время она боялась его ответа, потому что отрицание показалось бы предательством, а подтверждение окончательно разрушило бы последнюю возможность считать происходящее результатом усталости. Поэтому она шла молча, стараясь не оборачиваться, хотя спина ныла от желания проверить, всё

ли ещё горит свет в комнате второго этажа, всё ли ещё стоит там, за стеклом, та тонкая тёмная фигура, поднявшая руку в жесте, который можно было принять и за прощание, и за приказ вернуться.

Валентина Егоровна открыла прежде, чем они успели постучать. Видимо, стояла у окна или у двери, прислушиваясь к каждому звуку с улицы, потому что в тёплом жёлтом прямоугольнике прихожей появилась сразу — маленькая, сухая, в шерстяной кофте поверх ночной рубашки, с седыми волосами, собранными в узел, и лицом, на котором тревога уже успела стать привычкой. Она посмотрела сначала на Артёма, потом на Веру, задержав взгляд на её лице, и в этом взгляде было столько узнавания, что Вера на мгновение снова почувствовала себя ребёнком, вернувшимся после долгого отсутствия в место, где взрослые помнят о тебе больше, чем ты сама.

— Заходите скорее, пока вас насквозь не продуло, — сказала Валентина Егоровна и отступила в сторону, пропуская их внутрь, но при этом смотрела не на дорогу, а поверх Вериного плеча, туда, где за дождём и ветками темнел дом Морозовых.

Внутри пахло тёплым деревом, сушёными травами, лекарствами и старым чаем. Этот запах был настолько человеческим, жилым, почти спасительным после сырого дыхания материнского дома, что у Веры вдруг задрожали колени. Ей пришлось опереться рукой о стену, чтобы не показать, как

сильно её трясёт. На маленькой кухне горела лампа под тканевым абажуром, на плите стоял чайник, на столе уже были поставлены три чашки, блюдце с печеньем, пузырёк валерьянки и сложенное полотенце. Всё это создавало ощущение заранее подготовленного убежища, и именно эта подготовленность пугала не меньше, чем сам дом: Валентина Егоровна ждала не просто соседку, которой стало страшно ночью, а будто давно знала, что Вера рано или поздно придёт сюда в мокром пальто, с побелевшим лицом и ключом от второго этажа в кармане.

Артём снял куртку и повесил её у двери, но в кухню не прошёл сразу. Он остановился в прихожей, вытер ладонью мокрые волосы и тихо спросил:

— Вы уверены, что ей лучше остаться здесь? Если начнётся сильный ветер, связь опять ляжет, а дом напротив слишком близко.

Валентина Егоровна посмотрела на него устало, почти сердито.

— Ближе, чем прошлое, всё равно ничего не бывает, Артём. Пусть хотя бы до рассвета посидит в тепле, а утром будете решать, кто куда поедет и что кому можно говорить.

Вера сняла пальто медленно, чувствуя, как после холода в пальцах появляется болезненное покалывание. Её сумка с документами висела на плече, тяжёлая и нелепая в этой кухонной тишине. Она хотела сказать, что ей не нужна опека, что она пришла не прятаться, а всего лишь переждать

ночь, но слова застряли. Слишком многое за последние часы оказалось таким, чему невозможно было противопоставить обычную гордость.

— Вы видели? — спросила она наконец, обращаясь не то к Артёму, не то к Валентине Егоровне.

Старуха не стала уточнять, что именно. Она подошла к плите, сняла чайник с огня и только потом ответила:

— Если речь о свете наверху, то видела. Если о том, кто стоял у окна, то не спрашивайте меня сейчас, потому что в такую ночь даже правда может навредить, когда человек ещё не понимает, за что ему держаться.

Эта фраза была сказана спокойно, почти буднично, но Вера услышала в ней не желание уклониться, а осторожность человека, который слишком хорошо знает цену плохо выбранному моменту. И всё же от этой осторожности хотелось кричать. За сутки её жизнь превратилась в сеть чужих недоговорок, в которых каждый, от нотариуса до таксиста, держал в руках какую-то часть картины, но никто не хотел положить её на стол целиком.

— Я взрослая женщина, — сказала Вера, садясь за стол. — Я приехала хоронить мать, а не участвовать в вашей местной игре в намёки. Если вы знаете, что происходит в этом доме, вы должны сказать мне прямо.

Валентина Егоровна поставила перед ней чашку и села напротив. При ярком кухонном свете Вера увидела, как глубоко изборождены морщинами её руки, как вздулись вены под

тонкой кожей, как аккуратно, почти по-старинному, застёгнута кофта на все пуговицы. Она не походила на женщину, которая любит пугать приезжих легендами. Скорее на человека, долго прожившего рядом с чем-то тяжёлым и научившегося говорить о нём так, чтобы не сорваться самой.

— Прямо можно говорить о том, что поддаётся прямым словам, — произнесла Валентина Егоровна. — А про ваш дом прямыми словами говорить трудно. Не потому, что мы хотим вас мучить, Верочка, а потому, что каждый раз, когда кто-то пытается объяснить всё сразу, это начинает звучать либо как сумасшествие, либо как страшилка для детей. Ирина Алексеевна тоже много лет хотела, чтобы вы ничего не знали, но, видно, не всё в этой жизни решается нашим желанием.

Вера обхватила чашку ладонями. Чай был слишком горячий, пах чабрецом и чем-то горьковатым, успокаивающим. Она не пила, только держалась за тепло, как за единственную вещь, которая принадлежит обычному миру.

— Моя мать умерла естественной смертью? — спросила она после паузы.

Валентина Егоровна и Артём переглянулись так быстро, что Вера едва не пропустила этот взгляд. Но она заметила. За последние сутки она стала замечать чужие паузы и взгляды так же остро, как звуки за закрытой дверью.

— Врач написал, что сердце, — сказала старуха. — Сердце у неё давно было плохое, это правда.

— А не правда какая?

Валентина Егоровна опустила взгляд на свои руки.

— Неправда в том, что Ирина Алексеевна умерла спокойно во сне. Соседка из дома через два участка слышала ночью крик, но у нас тут ветер такой, что все потом говорят себе: почудилось. Я пришла утром, потому что она не открыла калитку, хотя всегда открывала рано, даже зимой. Дверь была не заперта, свет на кухне горел, а часы в гостиной стояли на трёх семнадцати.

Вера почувствовала, как горячая чашка в её руках вдруг стала почти обжигающей. Она осторожно поставила её на стол.

— Где вы нашли её?

Валентина Егоровна закрыла глаза, и на мгновение её лицо стало старше на несколько лет.

— У лестницы. Она лежала в прихожей, будто спускалась или, наоборот, пыталась не дать кому-то спуститься. В руке у неё был ключ от верхней двери, а на полу возле порога была вода.

Артём подошёл к окну и чуть отодвинул занавеску, проверяя улицу. Этот жест был настолько привычным, что Вера поняла: он делает так не впервые. Он слушает разговор, но часть его внимания всё равно остаётся там, за стеклом, на мокрой дороге, на тёмном доме напротив.

— Почему мне никто не сказал? — спросила Вера.

— А что вам должны были сказать? — тихо отозвалась

Валентина Егоровна. — Что ваша мать умерла у лестницы в доме, где тридцать лет происходят странности? Что перед смертью она, может быть, слышала чей-то голос? Что у нас в городе есть люди, которые до сих пор обходят этот дом другой дорогой, но ни один врач, ни один участковый, ни один нотариус не напишет такого в официальной бумаге? Вы бы поверили?

Вера хотела ответить, что поверила бы, но не смогла. Ещё два дня назад она действительно не поверила бы. Она выслушала бы, нахмурилась, решила бы, что в Североморске по-прежнему слишком любят семейные сплетни, и вернулась бы к своим билетам, документам, продаже дома. Вера знала себя достаточно хорошо, чтобы не лгать хотя бы в этом.

— Что значит «тридцать лет»? — спросила она.

Валентина Егоровна долго молчала. На кухне было тепло, но Вера чувствовала, как от окна тянет холодом, и этот холод казался не уличным, а принесённым в дом вместе с тем разговором, который наконец начал выходить из-под запрета.

— Странности в доме Морозовых были и раньше, до вашего рождения, но после той ночи, когда исчез ваш отец, всё стало хуже, — сказала старуха. — Люди начали слышать голоса, видеть свет на втором этаже, замечать, что в доме иногда открываются окна, которые днём были закрыты. Ирина Алексеевна сначала пыталась всё объяснять: ветер, плохая проводка, сырость, нервы. Потом перестала объяснять и просто начала жить по правилам. Запирать верх до темноты, не

отвечать на голоса, не оставлять ключ внутри замка, не пускать в дом чужих во время шторма.

— Почему вы не помогли ей уехать?

Валентина Егоровна посмотрела на неё с такой грустью, что Вера сразу поняла: этот вопрос задавали много раз, возможно, сама Валентина задавала его себе чаще всех.

— Она не могла.

— Все могут уехать из дома, если хотят.

— Из обычного дома — да.

Вера резко встала, потому что сидеть дальше стало невыносимо. Она прошла к окну и увидела сквозь тонкую занавеску размытый силуэт материнского дома. Свет наверху уже не горел. Второй этаж снова был тёмным, и от этого недавнее видение казалось почти невозможным, как сон, который при дневном пересказе теряет форму, но оставляет после себя дрожь.

— Это безумие, — сказала она, не оборачиваясь. — Вы все говорите так, будто дом живой.

— Может, не живой в том смысле, в каком живы мы, — ответила Валентина Егоровна. — Но некоторые места умеют держать то, что в них слишком долго оставляли. Страх, вину, тоску, любовь, ожидание. Вы психолог, вы должны понимать, что человеческая боль никуда не девается просто потому, что человек перестал о ней говорить.

Вера медленно повернулась.

— Я не психолог.

— Простите, значит, я перепутала. Ирина Алексеевна говорила, что вы работаете с людьми и умеете слушать то, что они прячут.

— Я консультант, — сухо сказала Вера, хотя сама не поняла, зачем уточняет. — Это не одно и то же.

Старуха кивнула, принимая поправку без спора, но Вера вдруг подумала, что мать всё-таки говорила о ней соседке. Не часто, возможно, не тепло, но говорила. Эта мысль оказалась неприятно болезненной. Все годы молчания Вера представляла Ирину Алексеевну застывшей в своём доме, почти лишённой человеческих привязанностей, но, может быть, мать всё это время произносила её имя в чужих кухнях, передавала обрывки новостей, хранила письма, не отправленные или не прочитанные, и продолжала быть её матерью каким-то непонятным, искалеченным способом.

— Она оставила вам кое-что, — сказала Валентина Егоровна.

Артём от окна повернул голову, и по его лицу Вера поняла, что об этом он не знал. Старуха поднялась медленно, опираясь на край стола, и вышла в соседнюю комнату. Было слышно, как она открывает шкаф, двигает коробку, что-то ищет среди бумаг. Вера осталась стоять у окна, чувствуя, как усталость сменяется новым напряжением. Вещи, оставленные умершими, почти всегда кажутся письмами, даже если это просто ключ, платок или старая фотография. Они продолжают говорить за человека, когда сам он уже не может ни-

чего объяснить, и именно поэтому трогать их бывает страшнее, чем смотреть на тело в гробу.

Валентина Егоровна вернулась с небольшим пакетом из плотной серой бумаги, перевязанным бечёвкой. На пакете было написано Верино имя материнским почерком, тем самым острым, сильным нажимом, который Вера узнала бы среди сотни других. Под именем стояла дата, поставленная всего за неделю до смерти Ирины Алексеевны.

— Она принесла это мне вечером, когда уже плохо себя чувствовала, — сказала Валентина Егоровна. — Сказала, если вы приедете, отдать после первой ночи. Не раньше.

— Почему после первой ночи?

Старуха положила пакет на стол, но не придвинула к Вере сразу.

— Потому что, по её словам, до первой ночи вы бы всё равно не поверили.

Артём подошёл ближе. В кухне стало тесно от их молчания. Вера долго смотрела на пакет, прежде чем взять его. Бечёвка была завязана аккуратно, но руки у неё дрожали, и узел не сразу поддался. Внутри лежали несколько предметов: маленькая чёрная записная книжка, старая фотография, металлический ключ необычной формы и конверт, на котором было написано: «Открыть, если услышишь мой голос».

Вера почувствовала, как воздух вокруг неё словно опустился ниже, стал плотнее. Она подняла глаза на Валентину Егоровну, потом на Артёма, но оба молчали.

— Я уже услышала, — сказала она. Голос получился чужим.

Она вскрыла конверт. Бумага внутри была сложена вдвое, исписана рукой матери более неровно, чем обычно, будто Ирина Алексеевна торопилась или писала в плохом самочувствии. Вера начала читать стоя, но уже после первых строк ей пришлось снова сесть.

«Верочка, если ты читаешь это письмо, значит, дом всё-таки позвал тебя моим голосом. Я надеялась, что успею умереть так, чтобы он не заметил, или что ты не приедешь во все, как не приезжала все эти годы. Не вини себя за это. Иногда самое правильное, что может сделать дочь, — не возвращаться туда, где мать не смогла её защитить».

Вера перестала дышать ровно. Слова расплывались, но она заставила себя читать дальше.

«Я знаю, ты считаешь меня жестокой и, может быть, безумной. Возможно, я сама дала тебе для этого достаточно причин. Но есть вещи, которые нельзя объяснить ребёнку, не разрушив его окончательно. Твой отец не ушёл к морю. Он остался в доме. И если однажды он попросит тебя открыть дверь, не верь ему, даже если голос будет его. Особенно если голос будет его».

В кухне стало так тихо, что Вера услышала, как где-то в глубине дома Валентины Егоровны щёлкнула остывающая труба. Она подняла глаза на Артёма, но он смотрел не на неё, а на письмо.

— Что там дальше? — тихо спросил он.

Вера вернулась к листу.

«Комната появится не сразу. Сначала будут часы, вода, голоса, свет наверху. Потом дом начнёт возвращать тебе то, что ты потеряла. Не бери. Самое опасное в нём не страх, а надежда».

Последняя строчка была написана крупнее остальных, почти с нажимом, прорвавшим бумагу в нескольких местах.

«Если ты хочешь узнать правду, ищи кассеты в кабинете Сергея. Но не слушай их ночью».

Вера медленно опустила письмо на стол. Её лицо осталось неподвижным, но внутри что-то сдвинулось, окончательно и беззвучно, как сдвигается пласт земли после долгого подмыва. Отец не ушёл к морю. Он остался в доме. Эта фраза была невозможной, безумной, но она попала в ту часть памяти, где семилетняя девочка всё ещё стояла на лестнице перед тёмной дверью и слышала голос, просивший впустить его.

Валентина Егоровна перекрестилась, почти незаметно, у самого края стола.

— Я не читала письмо, — сказала она. — Клянусь вам, Верочка, не читала.

— А кассеты? — спросила Вера, обращаясь уже к Артёму, потому что в его лице снова появилось узнавание. — Вы знаете, о каких кассетах она пишет?

Он ответил не сразу.

— У вашего отца был кабинет на первом этаже, рядом с гостевой спальней. Ирина Алексеевна держала его закрытым много лет. Я видел дверь, но никогда туда не входил.

Вера вспомнила эту дверь. Вечером она прошла мимо неё, даже не задержав взгляда, потому что усталость и страх толкали её к спальне, к возможности спрятаться хотя бы на несколько часов. Кабинет отца. Комната, где стоял старый магнитофон, карты, книги о море, коробки с плёнками и его письменный стол, за которым он иногда разрешал ей рисовать, если она обещала ничего не трогать.

— Я вернусь туда утром, — сказала Вера.

— После похоронных дел, — мягко поправила Валентина Егоровна. — У вас завтра тяжёлый день.

Вера посмотрела на старуху почти с удивлением. Слово «похороны» вдруг прозвучало так, словно принадлежало другой истории, более простой и человеческой. Там была умершая мать, морг, справки, траур, ритуальная служба. Здесь — письмо, голоса, кассеты, отец, который не ушёл к морю, а остался в доме.

— Я не смогу хоронить её, пока не пойму, что с ней произошло, — сказала Вера.

— Мёртвых всё равно надо хоронить, даже если живые ничего не поняли, — ответила Валентина Егоровна. — Ирина Алексеевна заслужила хотя бы это.

Эти слова, простые и жестокие в своей правоте, заставили Веру замолчать. Она снова посмотрела на письмо, на ключ,

на фотографию, которую ещё не успела рассмотреть, на чёрную записную книжку. Всё это лежало перед ней как начало пути, от которого уже нельзя отказаться, потому что отказ тоже стал бы выбором.

За окном медленно светлело. Не по-настоящему, не радостно, а северно, серо, с влажным холодом, который не обещает облегчения. Дождь почти прекратился, и в наступившей тишине дом Морозовых напротив казался ещё темнее, чем ночью. Он стоял за голыми ветками, неподвижный, закрытый, будто ничего не произошло, будто ни свет наверху, ни голос матери, ни фигура в окне не имели к нему отношения.

Вера взяла фотографию из пакета.

На снимке была она сама в детстве, лет семи или восьми, стоящая на берегу рядом с отцом. Сергей Морозов держал руку у неё на плече, улыбался в камеру, и всё в этом снимке должно было бы быть обычным: серое море, мокрые камни, маяк вдали, девочка в красной куртке. Но Вера смотрела не на себя и не на отца. За их спинами, чуть выше линии обрыва, на фотографии виднелся дом Морозовых, и в одном из окон второго этажа стояла женщина. Ирина Алексеевна.

Только снимок, судя по дате на обороте, был сделан через два месяца после того, как мать сломала ногу и всё лето не выходила из дома дальше крыльца. На фотографии она стояла в окне второго этажа и смотрела не в камеру, не на мужа, не на дочь, а куда-то в сторону, туда, где заканчивался

коридор.

Вера перевернула снимок и увидела на обороте короткую надпись, сделанную рукой матери много лет спустя:

«Это был первый раз, когда я поняла, что дом научился показывать меня там, где меня не было».

Глава 8

Кассеты

Утро не принесло облегчения, только сделало ночь более неправдоподобной. За окном Валентины Егоровны лежал серый, мокрый Североморск, с низким небом, прижатым к крышам, с редкими прохожими, которые шли по улице, втянув головы в плечи, с чёрными ветвями сирени у забора и домом Морозовых напротив, неподвижным, закрытым, будто всё, что произошло в нём между полночью и рассветом, не имело к этому старому фасаду никакого отношения. При дневном свете он снова казался просто заброшенным семейным домом, тяжёлым, сыроватым, плохо ухоженным, но не невозможным; и именно это спокойствие было особенно мучительным, потому что Вера уже знала: самые страшные вещи не обязаны выглядеть страшно снаружи.

Она почти не спала. После письма матери, после фотографии и после фразы на обороте, в которой Ирина Алексеевна писала о доме так, будто тот умел создавать чужие присутствия там, где их не было, сон стал не отдыхом, а очередной опасной комнатой, в которую Вера боялась войти. Она лежала на узком диване в маленькой комнате Валентины Егоровны, под тяжёлым одеялом с запахом лаванды и старого шкафа, слушала, как в кухне тихо передвигается хозяйка, как за стеной иногда кашляет батарея, как улица просыпается под

дождём, и всё время видела перед собой не лицо матери, не её тело в больничном морге, а тёмное окно второго этажа, за которым фигура женщины медленно подняла руку.

К восьми утра Вера уже была одета. Она умылась холодной водой, собрала волосы, положила в сумку документы, письмо, фотографию, старый металлический ключ и чёрную записную книжку, хотя каждую из этих вещей хотелось оставить на столе, под присмотром Валентины Егоровны, как оставляют опасные предметы в доме человека, который лучше знает, как с ними обращаться. Но письмо было адресовано ей. Фотография была из её прошлого. Ключ, каким бы непонятным он ни был, тоже теперь принадлежал ей, и Вера всё яснее чувствовала, что возвращение в Североморск уже перестало быть поездкой на похороны и стало чем-то более глубоким, почти насильственным: её вытаскивали из той жизни, где она была взрослой, свободной, рациональной, и возвращали в точку, где всё однажды сломалось.

Валентина Егоровна поставила перед ней овсяную кашу, чай и маленькую тарелку с хлебом, но Вера смогла выпить только несколько глотков. Старуха не настаивала. Она двигалась по кухне медленно и деловито, как человек, давно понявший, что в тяжёлые дни нельзя спасать другого словами, зато можно поставить рядом горячую чашку, найти сухие носки, не задавать лишних вопросов и не мешать молчанию делать свою работу.

Артём пришёл около девяти. После ночи он выглядел по-

что так же, как раньше: тёмная куртка, короткие влажные волосы, лицо усталое, но собранное, взгляд внимательный. Только под глазами залегли тени, и Вера заметила, что на правой руке у него тонкая свежая царапина, словно он где-то задел кожу о ржавый гвоздь или острый край дерева.

— Дорога к больнице свободна, — сказал он, входя на кухню. — Я могу отвезти вас сначала туда, потом к нотариусу. После этого, если захотите, заедем в дом.

Вера подняла глаза.

— Я хочу сначала в дом.

Валентина Егоровна, стоявшая у плиты, медленно повернулась к ней, но ничего не сказала. Артём снял мокрые перчатки, положил их на край подоконника и посмотрел на Веру так, будто ожидал именно этого и всё равно надеялся, что она выберет другое.

— У вас сегодня морг и документы, — напомнил он. — Это лучше не откладывать.

— Я не собираюсь откладывать похороны. Но моя мать оставила письмо, в котором написала, что кассеты лежат в кабинете отца. Если я сейчас поеду в морг, буду стоять рядом с её телом, подписывать бумаги, выбирать гроб, слушать чужие соболезнования и всё это время думать только о том, что в доме лежит ответ, я не выдержу. Мне нужно сначала понять хотя бы часть того, что она пыталась мне сказать.

Артём долго молчал. На его лице не было одобрения, но не было и привычного мужского желания немедленно ре-

шить за неё, как правильно. Это Вера отметила почти против воли. Он не отнимал у неё выбор, хотя явно считал его опасным.

— Тогда мы едем вместе, — сказал он наконец. — Вы не заходите одна, не поднимаетесь наверх и не слушаете ничего в доме, если найдём кассеты. Забираем их и уезжаем.

— Она написала: не слушать ночью.

— Я бы не стал слишком доверять тому, что дом считает ночью, — ответил Артём.

Валентина Егоровна тихо поставила чайник на стол. В её лице появилось выражение, которое Вера уже начинала узнавать: не страх, не удивление, а тяжёлая усталость человека, слишком много лет наблюдающего, как другие подходят к одному и тому же краю, каждый раз убеждая себя, что именно они смогут удержаться.

— Возьмите хлеба с собой, — сказала она. — И не спорьте в доме. Там все споры становятся громче, чем должны.

Вера хотела спросить, что это значит, но промолчала. За последние сутки она получила слишком много фраз, которые сначала казались суеверием, а потом оказывались почти инструкцией.

Дом Морозовых встретил их дневной тишиной. Дождь к тому времени почти прекратился, но в воздухе висела плотная мокрая сырость, и сад выглядел так, будто всю ночь его топили в серой воде. На крыльце стояли следы их вчерашнего ухода: размытые отпечатки обуви, тёмные пятна на дос-

ках, несколько листьев, прибитых ветром к порогу. Окно второго этажа было закрыто, белой занавески не было видно, а фасад дома, холодный и облупленный, казался безучастным, почти оскорбительно спокойным.

Артём первым подошёл к двери и остановился, ожидая, пока Вера достанет ключи. Она заметила эту молчаливую границу и сама открыла замок. Ей было важно войти не как испуганной девочке, которую выводят из дома за руку, а как человеку, которому теперь придётся смотреть в лицо тому, от чего её когда-то пытались защитить. Замок повернулся с тем же сухим сопротивлением, дверь подалась внутрь, и из прихожей вышел знакомый запах: холодное дерево, пыль, лекарственная горечь, сырость и слабый след материнских духов, слишком упрямый для дома, где хозяйка уже не могла вернуться.

Внутри всё выглядело почти так же, как ночью, только свет из окон делал предметы не безопаснее, а безжалостнее. На полу у лестницы высохла вода, оставив мутные разводы. Материнское пальто висело на крючке. Часы в гостиной снова тикали, но стрелки по-прежнему стояли на 03:17, и это несоответствие — живой звук при мёртвом времени — было настолько неприятным, что Вера отвела взгляд.

— Кабинет здесь, — сказала она и прошла по коридору к двери рядом с гостевой спальней.

В детстве кабинет отца был для неё самым тёплым местом в доме. Не в прямом смысле: там часто было прохлад-

но, потому что окно выходило к морю, и сквозняк пробирался даже через закрытые рамы. Но именно здесь отец становился другим — не тем усталым, молчаливым мужчиной, который иногда подолгу смотрел в окно за ужином, а живым, увлечённым, почти мальчишеским. Он показывал Вере карты, объяснял, как читать линии течений, давал подержать компас, рассказывал о маяках, кораблях, исчезнувших бухтах, о том, что море никогда не бывает пустым, даже если кажется гладким и неподвижным. После его исчезновения кабинет закрыли. Мать сказала, что ей тяжело видеть его вещи, но Вера уже тогда почувствовала: дело не только в горе.

Дверь оказалась заперта.

Вера перебрала ключи, найденные в материнской связке, но ни один не подошёл. Тогда она достала из сумки тот странный металлический ключ, который Валентина Егоровна передала ей вместе с письмом. Он был длиннее обычных, с тёмным налётом в углублениях и необычной бородкой, будто изготовленной не для современного замка, а для чего-то старого, почти музейного. Ключ вошёл не сразу; Вере пришлось чуть повернуть его назад, потом вперёд, и только после этого внутри замка щёлкнуло.

Артём, стоявший рядом, ничего не сказал, но Вера почувствовала, как изменилось его дыхание.

Кабинет отца сохранился почти нетронутым. Пыль лежала на письменном столе, на полках, на подоконнике, но в этой пыли не было полного забвения; скорее казалось, что

комнату редко, но всё же открывали, проверяли, следили, чтобы вещи оставались на своих местах. У стены стоял старый стол с зелёной лампой, рядом книжный шкаф с морскими справочниками, атласами, папками и коробками, на подоконнике — засохший кактус в глиняном горшке. Над столом висела карта побережья, пожелтевшая по краям, с отметками красным карандашом. Вера узнала почерк отца на нескольких пометках, но рядом с ним были и другие знаки, более резкие, похожие на материнские.

На столе стоял кассетный магнитофон.

Вера остановилась у порога. Магнитофон был старый, серый, с потёртыми кнопками, таким она помнила его с детства. Отец иногда записывал на него шум моря, собственные заметки, разговоры с рыбаками, а однажды записал её голос, когда она в шесть лет пыталась рассказать сказку про девочку, которая нашла на берегу стеклянный ключ. Но теперь магнитофон выглядел не как предмет из детства, а как устройство, оставленное нарочно, почти демонстративно. Рядом лежала кассета без коробки, и на белой наклейке материнским почерком было написано: «Сергей. Ночь после шторма».

— Не включайте здесь, — сказал Артём.

Вера повернулась к нему.

— Вы боитесь кассет?

— Я боюсь того, что люди делают, когда слышат голоса тех, по кому скучали слишком долго.

Ответ оказался слишком личным. Вера заметила это сразу, но не стала спрашивать. В этой комнате каждый вопрос мог открыть не тот ящик.

Она подошла к столу и взяла кассету. Пластик был холодным, чуть шероховатым от пыли. Затем начала искать остальные. Первую коробку нашла в нижнем ящике стола, под стопкой старых квитанций и отцовских блокнотов. Там лежало около двадцати кассет, каждая подписана датой или короткой фразой: «До исчезновения», «Шторм. Голос», «Вера, семь лет», «Ирина. Не слушать одной», «Комната?», «После 03:17». Некоторые названия были написаны рукой отца, другие — рукой матери, и от этого коробка казалась не архивом, а спором двух людей, продолжавшимся через годы после исчезновения одного и смерти другой.

Вера почувствовала, как у неё холодеют пальцы.

— Здесь есть кассета с моим именем.

Артём подошёл ближе, но не стал брать коробку из её рук.

— Значит, тем более не здесь.

— Я имею право знать, что там.

— Да. Но не обязаны узнавать всё в комнате, где это было записано.

Она подняла на него взгляд. В этой фразе было нечто такое, что снова выдавало опыт. Не теорию, не суеверие, а пережитое знание. Вера вдруг подумала, что Артём тоже когда-то услышал запись, голос, фразу, которую не должен был слышать, и после этого часть его жизни осталась в каком-то

закрытом месте.

— Что вы скрываете? — спросила она.

— Много чего, — ответил он спокойно. — Но сейчас это не главное.

Вера усмехнулась, хотя ей совсем не было смешно.

— Для вас, возможно.

— Для меня тоже, — сказал Артём. — Просто если мы начнём открывать все двери сразу, ни одну потом не закроем.

Он произнёс это без особого нажима, но слово «двери» повисло между ними слишком точно. Вера снова посмотрела на карту над столом. Красные отметки тянулись вдоль берега, вокруг маяка, у старого пирса, возле дома Морозовых. В одной точке, на самом краю обрыва, отец поставил маленький крест, а рядом подписал дату, которую Вера узнала не сразу. Это была дата его исчезновения.

Под ней, уже другим почерком, мать добавила: «Не море».

Вера коснулась этой надписи пальцами, не думая о пыли.

— Она знала, что он не утонул.

— Похоже на то.

— Но все эти годы говорила, что он ушёл к морю.

— Возможно, это была единственная версия, которую люди могли принять.

Вера обернулась к нему, и раздражение снова поднялось в ней, горячее, почти живое.

— Вы снова говорите так, будто оправдываете её.

— Я не оправдываю. Я не знал вашу мать настолько близко.

— Но защищаете.

Артём посмотрел на неё долго, и в его взгляде впервые появилось нечто более жёсткое.

— Я защищаю вас от ошибки, которую люди часто совершают после смерти родителей. Они думают, что правда обязана прийти сразу, потому что больше никому мешать. Но иногда умершие оставляют после себя не ответы, а ловушки из своих страхов, и вы сейчас стоите прямо среди них.

Вера хотела ответить резко, но не смогла. В словах Артёма было слишком много правды, не мистической, а обычной, человеческой. Она действительно стояла среди материнских страхов, среди отцовских записей, среди собственной обиды, и всё это тянуло её в разные стороны так сильно, что иногда она уже не понимала, чего хочет больше: узнать правду или доказать, что мать не имела права молчать.

Она аккуратно сложила кассеты в сумку. Потом достала отцовский блокнот, лежавший в верхнем ящике, и несколько папок с бумагами. В одной из них были старые фотографии, в другой — газетные вырезки об исчезновениях людей у побережья, о штормах, об авариях, о пропавших рыбаках, туристах, школьниках. На первый взгляд всё это могло быть обычным архивом человека, интересовавшегося морем и местными историями, но рядом с некоторыми статьями стояли пометки отца: «не совпадает время», «видели по-

сле», «голос у дома», «И. сказала — дверь была открыта».

Вера читала отдельные фразы и чувствовала, как привычная биография её семьи начинает распадаться. Отец уже не был просто человеком, исчезнувшим в шторм. Мать уже не была просто холодной женщиной, сломавшейся после потери мужа. Дом переставал быть декорацией детства. Всё связывалось невидимой системой, которую родители, возможно, пытались понять задолго до той ночи, когда Вера впервые увидела дверь.

Из прихожей донёсся тихий стук.

Артём сразу поднял голову. Стук повторился, но был не похож на вчерашний удар в дверь. Скорее кто-то осторожно коснулся стекла или дерева, проверяя, услышат ли его внутри. Вера застыла с папкой в руках. Артём жестом попросил её оставаться на месте и вышел из кабинета.

Голоса в прихожей были приглушёнными. Мужской, незнакомый, слегка раздражённый, и голос Артёма, ровный, сдержанный. Вера не выдержала и вышла следом.

На пороге стоял мужчина лет шестидесяти, высокий, худой, в старом плаще и вязаной шапке, с лицом, обветренным до красноты, и глазами, которые неприятно быстро скользнули по Вере, по её сумке, по открытому кабинету за спиной. Он держал в руках букет тёмных гвоздик, обёрнутых в прозрачную плёнку, но цветы выглядели не столько знаком сочувствия, сколько пропуском, который он заранее приготовил, чтобы иметь право войти.

— Лев Демидов, — представился он, не дожидаясь вопроса. — Я знал вашу мать. Принёс соболезнования.

Вера сразу поняла, что это и есть бывший смотритель маяка, о котором в разговорах последних часов, ещё не было ясного места, но было ощущение готовящегося появления. Возможно, дело было не в словах, а в том, как Артём чуть заметно напрягся рядом с ней.

— Спасибо, — сказала Вера. — Сейчас не самое удобное время.

Демидов посмотрел на Артёма и тонко улыбнулся.

— В этом доме удобного времени никогда не бывает.

— Вам лучше прийти после похорон, — сказал Артём.

— Я не к тебе пришёл, Белов.

Вера почувствовала, что между этими двумя уже существует история, причём не из тех, которые рассказывают сразу. Артём не двинулся, но его присутствие в проходе стало почти физической преградой.

— Вера Сергеевна устала, — сказал он.

— Вера Сергеевна не ребёнок, чтобы ты решал за неё, с кем ей говорить, — ответил Демидов и снова посмотрел на Веру. — Ваша мать перед смертью искала меня. Не нашла, потому что я уезжал в район. Если бы нашла, возможно, сегодня мы говорили бы иначе.

Эта фраза достигла цели. Вера увидела, как у Артёма потемнел взгляд, но уже не могла просто закрыть дверь. После письма, кассет и фотографии любое упоминание о послед-

них днях матери становилось частью мозаики, от которой зависело слишком многое.

— Что ей было нужно? — спросила она.

Демидов перевёл взгляд на открытый кабинет, на сумку, из которой виднелась коробка с кассетами, и на его лице мелькнуло что-то похожее на удовлетворение.

— Она хотела знать, сколько времени осталось до большого шторма.

— До какого шторма?

— До того, который уже идёт к берегу, — сказал он. — Ваш дом всегда чувствует его раньше людей.

Артём шагнул ближе к двери.

— Хватит.

Демидов даже не посмотрел на него.

— Вы нашли записи Сергея, значит, скоро услышите и то, что он понял перед исчезновением. Но я бы не советовал слушать первую кассету без человека, который знает, где в записи заканчивается голос мёртвого и начинается голос дома.

Вера сжала ремень сумки.

— И вы, конечно, этот человек?

— Нет, — ответил Демидов, и его улыбка исчезла. — Я тот, кто однажды не различил.

На несколько секунд в прихожей стало тихо. Снаружи моросил дождь, где-то за садом шумело море, а в доме тикали часы, всё так же неподвижно показывая 03:17.

Лев Демидов положил гвоздики на маленький столик у двери, не входя дальше.

— Похороните мать до завтрашнего вечера, — сказал он уже тише. — И не оставляйте её вещи в доме после захода солнца. Ирина держала его слишком долго. Теперь он будет искать того, кто продолжит.

— Что продолжит? — спросила Вера.

Демидов посмотрел на лестницу, на закрытую дверь второго этажа, и в этом взгляде не было суеверного ужаса. Скорее знание, старое и испорченное собственной виной.

— Сторожить то, что нельзя выпустить.

Он ушёл так же внезапно, как появился, оставив после себя мокрые следы у порога, гвоздики на столике и ощущение, будто дом стал теснее. Артём закрыл дверь и несколько секунд стоял к ней лицом, явно сдерживая то, что хотел сказать.

— Вы ему не доверяете, — сказала Вера.

— Нет.

— Почему?

Артём повернулся к ней.

— Потому что люди, которые слишком много говорят о доме, обычно хотят, чтобы кто-то другой открыл дверь вместо них.

Вера не ответила. Она смотрела на гвоздики, на капли воды, стекавшие с прозрачной плёнки, и думала о том, что каждый человек в Североморске приносит ей не объяснение, а

новую форму страха. Валентина Егоровна — осторожную, материнскую. Артём — сдержанную, практическую. Демидов — тёмную, почти соблазняющую. И где-то за всеми ними стояла Ирина Морозова, мёртвая женщина, которая оставила дочери кассеты, письмо и фразу: самое опасное в нём не страх, а надежда.

Вера закрыла отцовский кабинет, повернула ключ и убрала его в карман. На этот раз она не сомневалась, что вернётся сюда снова, но уже не одна и не без подготовки. Ей предстояло ехать в больницу, подписывать документы, выбирать день похорон, говорить с нотариусом, смотреть на лицо матери в последний раз. Но в сумке у неё лежали кассеты, и от их тяжести плечо ныло так, будто она несла не пластик и магнитную плёнку, а голоса, которые слишком долго ждали, когда их наконец включат.

Глава 9

Похоронный день

Районная больница Североморска стояла на низком холме за старым парком, где кривые тополя уже много лет росли под постоянным ветром, наклоняясь в одну сторону, будто сам город медленно, не признаваясь себе, отворачивался от моря. Утром здание казалось особенно неприветливым: длинное, серое, с облупившейся штукатуркой, с мокрыми ступенями у входа и тусклыми окнами, за которыми угадывались коридоры, запах хлорки, усталые лица медсестёр и тот особенный холод казённых учреждений, где человеческое горе быстро становится частью расписания.

Вера вышла из машины не сразу. Несколько секунд она сидела, держа сумку на коленях, и смотрела на больничные двери, через которые ей предстояло войти не к живой матери, не к женщине, с которой можно было бы наконец поспорить, спросить, обвинить, добиться ответа, а к телу, уже не способному ни объяснить, ни солгать. Эта мысль почему-то оказалась тяжелее всех ночных страхов. Пока Ирина Алексеевна говорила с ней через письмо, через фотографии, через записные книжки и чужие воспоминания, она оставалась почти живой, властной, противоречивой, раздражающей, пугающей. Но там, за дверями морга, была другая правда, простая и окончательная: мать умерла, и все вопросы, которые

Вера берегла для неё годами, теперь придётся задавать дому, кассетам, соседям и собственной памяти.

Артём заглушил двигатель, но не торопил её. После визита в дом он стал ещё молчаливее, и Вера не знала, благодарна ли ему за это или злится. Его молчание не было пустым; оно держалось рядом, как стена, о которую можно было опереться, если не называть это опорой. В дороге он почти не говорил, только один раз спросил, не хочет ли она оставить сумку с кассетами у Валентины Егоровны, и, получив отказ, больше к этому не возвращался. Вера понимала, что поступает неразумно, таская с собой коробку с записями отца, словно ценную улику или опасное наследство, но расстаться с ней даже на час не могла. После письма матери эти кассеты стали не вещью, а обещанием: где-то на магнитной ленте мог звучать голос человека, которого она потеряла прежде, чем успела понять, кем он был на самом деле.

— Я пойду с вами до регистратуры, — сказал Артём, когда она наконец открыла дверь машины. — Дальше, если захотите, подожду снаружи.

— Вы не обязаны.

— Я знаю.

Она посмотрела на него, пытаясь понять, почему эта короткая фраза раздражает меньше, чем могла бы. Возможно, потому, что он действительно не делал вид, что участвует из сострадания, не прикрывал заботой собственное любопытство, не задавал вопросов, на которые она не готова была от-

вечать. Он просто был рядом так, как бывают рядом люди, однажды уже столкнувшиеся с чем-то настолько тёмным, что после этого не могут спокойно смотреть, как другой человек идёт туда один.

Внутри больницы пахло влажной одеждой, лекарствами и старым линолеумом. У регистратуры сидела женщина в синем халате, которая долго листала документы. Потом появилась невысокая врач с усталым лицом, представилась Татьяной Николаевной и повела Веру по коридору, объясняя порядок получения свидетельства, необходимость подписи и то, что тело уже подготовлено к выдаче ритуальной службе. Она говорила мягко, профессионально, почти бережно, но Вера всё равно слышала только отдельные слова: «сердце», «возраст», «обострение», «стресс», «без признаков насильственной смерти».

— Вы её наблюдали? — спросила Вера, останавливаясь у окна в конце коридора.

Татьяна Николаевна тоже остановилась. На мгновение в её лице появилось то выражение, которое Вера уже слишком хорошо знала по другим жителям Североморска: осторожная внутренняя проверка, сколько можно сказать и какой ценой.

— В последние годы — да. Ирина Алексеевна приходила редко, чаще просила выписать препараты через соседку, но сердце у неё действительно было слабое. Давление, аритмия, последствия давних приступов. Она плохо спала, это тоже

влияло.

— Она говорила почему?

Врач посмотрела на Артёма, стоявшего чуть в стороне. По тому, как она его узнала взглядом, Вера поняла, что он и здесь не чужой. В маленьком городе каждый вплетён в чужие истории.

— Она говорила, что в доме шумно, — ответила Татьяна Николаевна после паузы. — Что ветер мешает. Что старые дома плохо держат тепло. Обычные вещи.

— Обычные? — переспросила Вера.

— Для медицинской карты — обычные.

Вера почти физически ощутила, как за этой поправкой открывается другая, неофициальная реальность, где пациенты говорят врачам больше, чем потом попадает в документы. Но врач уже отвела взгляд и снова пошла по коридору.

Перед дверью, за которой находилось тело матери, Вера остановилась. Она не была готова. За последние сутки она видела достаточно страшного, чтобы, казалось бы, потерять чувствительность к обычной человеческой смерти, но именно обычность этой двери, белой, слегка обшарпанной, с табличкой и потемневшей ручкой, вдруг сделала всё невыносимо настоящим. Никакой мистики, никакой двери в конце коридора, никакого голоса сверху. Только больничный коридор, врач, бумаги и необходимость войти.

— Я подожду здесь, — тихо сказал Артём.

Вера кивнула, не глядя на него, и вошла.

Ирина Алексеевна лежала под белой простынёй, и первое, что почувствовала Вера, было не горе, а странное изумление от того, насколько маленькой стала мать. При жизни она занимала пространство иначе: своим взглядом, строгими движениями, сдержанным голосом, способностью заставить дом подчиняться её правилам, даже когда она молчала. Теперь от этой силы осталась тонкая фигура, сухие руки поверх простыни, заострившееся лицо и закрытые веки, под которыми больше не было ни страха, ни упрёка, ни той постоянной внутренней настороженности, от которой Вера в детстве научилась ходить тише, спрашивать меньше и заранее угадывать настроение взрослых по положению плеч.

Она подошла ближе. Мать выглядела старше, чем Вера успела представить за годы разлуки. На висках почти не осталось тёмных волос, кожа стала тонкой, как бумага, губы сжались в привычную линию, но теперь эта линия не выражала строгости. Скорее усталость. Такую глубокую усталость, что Вере впервые пришло в голову: возможно, Ирина Морозова не просто жила рядом со страхом, а несла его каждый день, как тяжёлую воду в закрытом сосуде, не позволяя никому заглянуть внутрь.

Слёз всё ещё не было. Вместо них пришла тихая, медленная боль, не похожая на ту, которую Вера ожидала. Она не оплакивала любящую мать, потому что такой матери у неё, может быть, никогда и не было. Она сожалела о невозможности узнать, кем Ирина могла бы стать без дома, без исчезно-

вения мужа, без ночей у запертой лестницы, без тех правил, которые превратили её любовь в холодную дисциплину. И ещё она жалела ребёнка, которым была сама, потому что этот ребёнок слишком долго думал, будто мать не любит его достаточно сильно. Хотя теперь она начинала подозревать куда более страшное: мать любила так, чтобы иметь возможность выживать, а выживание редко бывает нежным.

Вера протянула руку и коснулась пальцев матери. Они были холодными, жёсткими, окончательно чужими. В этот момент в памяти вспыхнуло неожиданное, почти забытое: ей пять лет, она болеет, высокая температура, за окном дождь, мать сидит рядом с кроватью и держит её руку всю ночь, не говоря почти ничего, только иногда поправляя одеяло и проверяя лоб. Вера не помнила этого много лет. Или не хотела помнить, потому что такие воспоминания мешали чистой обиде, а обида была удобнее неопределённости.

— Я приехала, — сказала она тихо и тут же почувствовала нелепость этих слов, потому что мать уже не могла их услышать, а та, что ночью говорила из-за двери, слышать не должна была.

На столике у стены лежал небольшой прозрачный пакет с вещами Ирины Алексеевны, найденными при ней: часы с тонким ремешком, платок, связка ключей, маленький образок, сложенный листок бумаги и пуговица. Вера не сразу обратила внимание на пуговицу, но потом что-то в её виде показалось неправильным. Она была крупная, тёмная, с метал-

лическим ободком, совсем не похожая ни на пуговицы материнского пальто, ни на её домашние кофты. Вера взяла пакет в руки и подняла ближе к свету.

— Это нашли при ней? — спросила она у Татьяны Николаевны, которая стояла у двери, давая ей пространство, но не уходя окончательно.

— Да. Всё, что было в карманах и рядом с телом, сложили сюда.

— Рядом с телом?

— Насколько я поняла из акта, на полу возле руки.

Вера посмотрела на пуговицу снова, и в груди у неё возникло слабое, неприятное узнавание. Она где-то видела такую. В детстве. На чём-то тёмном, тяжёлом, мокро от дождя.

Она не стала говорить об этом врачу. Только подписала бумаги, забрала пакет и вышла в коридор.

Артём стоял у окна. Он повернулся, когда она вышла, и по его лицу Вера поняла, что он не будет спрашивать, как она себя чувствует. За это она была ему почти благодарна.

— При ней нашли пуговицу, — сказала она, протягивая пакет.

Он посмотрел через прозрачный пластик и сразу изменился в лице, губы сжались, рука, которую он уже протянул, остановилась, не коснувшись пакета.

— Откуда она? — спросила Вера.

— Похожа на форменную, старую.

— Чью?

Он не ответил сразу, и это молчание сказало ей больше, чем хотелось.

— У зрителей маяка раньше были такие на штормовых куртках, — произнёс он наконец. — Не только у них, но у них точно.

Лев Демидов. Имя всплыло между ними так отчётливо, будто кто-то произнёс его вслух. Вера вспомнила старого мужчину на пороге, гвоздики в прозрачной плёнке, его фразу о том, что Ирина искала его перед смертью, и то странное удовлетворение, с которым он посмотрел на сумку с кассетами.

— Он сказал, что мать перед смертью искала его.

— Демидов любит говорить вещи, которые невозможно сразу проверить.

— Но пуговица была возле её руки.

Артём посмотрел в конец коридора, где медсестра везла каталку с бельём, потом снова на пакет.

— Это не доказывает, что он был там в ночь смерти.

— Нет, — согласилась Вера. — Но доказывает, что какая-то часть его истории рядом с ней всё-таки была.

После больницы они поехали к нотариусу. Ольга Павловна встретила Веру в маленьком кабинете с зелёными стенами, шкафами до потолка и запахом бумаги, пыли и кофе. Здесь всё было устроено так, чтобы придавать смерти юридическую форму: папки, печати, заявления, свидетельства,

аккуратные стопки документов. Вера подписывала бумаги, слушала объяснения о наследственном деле, о доме, о земельном участке, о банковском счёте матери, и всё время чувствовала в сумке тяжесть кассет и прозрачного пакета с пуговицей.

— Завещание составлено давно? — спросила она, когда Ольга Павловна достала отдельную папку.

— Первоначальное — восемь лет назад, но последняя редакция была заверена около месяца назад.

— Месяц назад? — Вера подняла взгляд.

Нотариус кивнула.

— Ирина Алексеевна пришла сама. С трудом, но сама. Очень настаивала, чтобы изменения вступили в силу сразу после её смерти.

— Какие изменения?

Ольга Павловна открыла документ, но перед тем, как начать читать, на мгновение задержала руку на странице.

— Дом и земельный участок переходят вам полностью. Это не изменилось. Но появилось условие, оформленное как распоряжение личного характера. Юридически оно не имеет силы в отношении права собственности, но Ирина Алексеевна просила включить его в текст.

Вера почувствовала, как внутри снова поднимается тревога. За последние сутки слова «просила включить» и «оставила» начали звучать для неё как предвестники новых запретов.

— Какое условие?

Нотариус прочитала, не отрывая взгляда от листа:

— «Моя дочь, Вера Сергеевна Морозова, не должна продавать, дарить, сдавать или передавать дом третьим лицам до истечения сорока дней со дня моей смерти. В течение этого срока она обязана лично осмотреть кабинет Сергея Викторовича Морозова, второй этаж и северную стену дома, если хочет принять наследство не только как имущество, но как ответственность».

В кабинете стало очень тихо. Даже Артём, стоявший у двери, перестал смотреть в окно и повернулся к ним.

— «Северную стену»? — повторила Вера.

Ольга Павловна сняла очки.

— Я не знаю, что она имела в виду. Я предупреждала Ирину Алексеевну, что подобные формулировки не являются обязательными к исполнению, но она сказала, что вы поймёте.

Вера почти рассмеялась, но смех застрял где-то в горле. Она не понимала. Именно в этом и заключалась жестокость материнского наследства: Ирина снова говорила с ней так, будто между ними существует общий язык, хотя всю жизнь тщательно скрывала его алфавит.

— Она была в здравом уме, когда меняла завещание? — спросила Вера.

Ольга Павловна не обиделась. Видимо, ожидала вопроса.

— Полностью. Уставшая, больная, но абсолютно понима-

ющая, что делает. Я даже предложила перенести встречу, потому что погода была плохая и ей явно было трудно, но она отказалась. Сказала, что времени больше нет.

— Почему?

Нотариус сложила руки на папке.

— Потому что приближался шторм.

Артём тихо выдохнул, и Вера услышала это почти физически.

— Она так и сказала?

— Да. Я сочла это образным выражением. Пожилые люди иногда чувствуют погоду очень остро.

Вера посмотрела на документ. Сорок дней. Кабинет отца. Второй этаж. Северная стена. В этой последовательности было что-то ритуальное, но одновременно практическое, как маршрут, составленный человеком, который знает: если дочь всё-таки вернётся, её нужно провести не через воспоминания, а через места, где спрятаны доказательства.

— Можно мне копию?

— Конечно.

Пока нотариус делала копии, Вера подошла к окну. С улицы был виден кусок центральной площади, мокрые машины, аптечная вывеска, женщина с красным зонтом, мальчик в школьной куртке, перепрыгивающий через лужу. Обычная городская жизнь продолжалась так уверенно, будто никакого дома на обрыве, никакой комнаты, никаких голосов не существовало. Это почти злило. Вера вдруг поняла, что хотела

бы, чтобы весь Североморск выглядел так же, как её внутренний мир, чтобы улицы треснули, фонари погасли, море вышло из берегов, чтобы окружающая реальность наконец признала: происходящее не помещается в нормальный день.

После нотариуса нужно было ехать в ритуальную службу. Там ей предложили каталог гробов, венков, лент и мест на кладбище с той деликатной деловитостью, которая всегда кажется жестокой, хотя без неё, вероятно, людям было бы ещё труднее. Вера выбрала самое простое, потому что не знала, что могла бы выбрать мать. Ирина Алексеевна не любила ни роскошь, ни показное горе. Она была человеком закрытых дверей, сдержанных жестов, вовремя оплаченных счетов и вещей, поставленных на место. Даже смерть её, казалось, требовала не пышности, а порядка. Похороны назначили на следующий день, ближе к полудню.

Когда они вышли на улицу, дождь прекратился, но ветер усилился. В небе над городом появилась тёмная полоса облаков, низкая, тяжёлая, с зеленоватым оттенком у горизонта. Море было не видно, но его слышно стало даже в центре, между домами и машинами: глухой, нарастающий шум, похожий на дальнейшее движение большого поезда.

— Шторм придёт раньше, — сказал Артём.

— До похорон?

— Возможно, к вечеру. Сильнее всего ночью.

Вера поправила ремень сумки. За день она почти привыкла к её тяжести, как привыкают к боли в плече и перестают

замечать её, пока не сделают резкое движение.

— Тогда сегодня нужно послушать хотя бы одну кассету.

Артём посмотрел на неё устало.

— Вера.

— Не в доме. У Валентины Егоровны. Днём. С вами, если вам так спокойнее. Мать сама написала, что я должна их найти. Если она боялась шторма, значит, до шторма я должна узнать хотя бы то, что касается отца.

Он молчал достаточно долго, чтобы она поняла: спор ещё не закончен, но он уже проигрывает. Не потому, что она убедила его, а потому, что правда действительно приближалась вместе со штормом, и откладывать её становилось опасно.

— Одну, — сказал он наконец. — И, если на записи будет что-то странное, мы выключаем.

— Что значит «странное»?

Артём посмотрел в сторону дороги, ведущей к обрыву.

— Вы поймёте.

Вера хотела спросить ещё, но в этот момент её телефон завибрировал. Номер был неизвестный, но не тот, с которого пришло предупреждение. Она ответила, ожидая услышать ритуальную службу или нотариуса.

Сначала в трубке был только шум. Не помехи связи, а низкий, влажный, протяжный шум, похожий на море, записанное слишком близко к воде. Потом сквозь этот шум проступил мужской голос, тихий, усталый, с интонацией, которую она помнила так глубоко, что память отозвалась раньше ра-

зума.

— Верочка, — сказал голос отца. — Не слушай первую кассету при нём.

Связь оборвалась.

Вера осталась стоять посреди мокрой улицы с телефоном у уха, чувствуя, как холодный ветер проходит сквозь пальто, сквозь кожу, сквозь все её взрослые защиты. Артём смотрел на неё, уже понимая по её лицу, что произошло что-то ещё, но она не сразу смогла заговорить.

Когда наконец опустила телефон, голос у неё был почти спокойным, и именно это спокойствие показалось ей страшнее дрожи.

— Мне только что звонил отец.

Глава 10

Первая запись

После звонка они несколько секунд стояли посреди улицы молча, и это молчание было тяжелее любой реакции. Вера всё ещё держала телефон в руке, словно связь могла вернуться, а вместе с ней — ещё несколько слов, способных объяснить невозможное. Экран уже погас, ветер рвал волосы из-под капюшона, где-то за домами шумело море, и обычный городской день продолжал двигаться вокруг них с той равнодушной устойчивостью, которая иногда кажется почти оскорбительной. Машины проезжали по мокрой дороге, женщина у аптеки стряхивала воду с зонта, двое подростков спорили у автобусной остановки, и ни один из этих людей не знал, что в центре улицы стоит взрослая женщина, только что услышавшая голос давно исчезнувшего отца.

Артём первым отвёл взгляд от её лица.

— Что именно он сказал?

Вера не ответила сразу. Ей нужно было ещё раз услышать эти слова внутри себя, проверить, не исказила ли память интонацию, не добавила ли чего-то от собственного страха. Но чем дольше она прислушивалась к воспоминанию, тем яснее понимала: голос был отцовским. Не похожим. Не напоминающим. Именно его. С тем едва заметным северным растягиванием гласных, которое сохранилось у Сергея Морозова

даже после долгих лет жизни в Москве, с тихой хрипотцой, появлявшейся, когда он уставал или говорил шёпотом.

— Он сказал, чтобы я не слушала первую кассету при вас.

Артём медленно выдохнул. Не удивлённо, не возмущённо — скорее так, как человек реагирует на подтверждение неприятной догадки.

— Номер сохранился?

Вера посмотрела на экран. В журнале вызовов последняя строка была пустой. Не «неизвестный», не скрытый номер, а просто разрыв между предыдущим звонком ритуальной службы и текущим временем, словно телефон сам не решил, был ли этот вызов настоящим.

— Нет, — тихо сказала она.

Артём кивнул, и это спокойное принятие испугало Веру сильнее возможного скепсиса.

— Вы ожидали что-то подобное?

— Я ожидал, что после возвращения в дом начнётся контакт.

— Контакт? — переспросила она почти резко. — Вы сейчас говорите как человек, который занимается спиритизмом, а не работает в береговой охране.

— Я говорю как человек, который видел, что происходит с теми, кто слишком долго остаётся рядом с этим местом.

Он посмотрел на неё внимательно, будто пытаясь понять, сколько ещё она способна выдержать за один день.

— Голос был отчётливым?

— Да.

— Без помех?

— Сначала был шум моря, потом голос.

Артём провёл ладонью по лицу, словно усталость внезапно навалилась сильнее.

— Дом всегда начинается с голосов тех, по кому человек не перестал скучать.

Вера почувствовала вспышку раздражения.

— Я не скучала по отцу тридцать лет. Я даже не помню его толком.

— Помнить и скучать — не одно и то же.

Она хотела возразить, но слова не пришли. Вместо них возникло странное чувство внутреннего сдвига, будто за последние сутки её память начала медленно размораживаться, выпуская наружу вещи, которые слишком долго лежали под слоем взрослой жизни. Она всё чаще ловила себя на том, что вспоминает запах отцовской куртки после дождя, его пальцы в табачном дыме, шум магнитофона в кабинете, звук шагов на лестнице ночью — и эти воспоминания возвращались не как отдельные картинки, а как что-то живое, продолжающееся.

— Поехали к Валентине Егоровне, — сказала Вера. — Я хочу услышать кассету сейчас.

Артём несколько секунд смотрел на неё, потом коротко кивнул.

Дом Валентины Егоровны встретил их теплом и запахом

дрожжевого теста. Старуха, видимо, пекла пироги, потому что воздух на кухне был густым от муки, яблок и чего-то домашнего, почти забытого Верой за годы московской жизни. Этот запах неожиданно ранил сильнее, чем больничный холод: он принадлежал миру, в котором люди возвращаются домой вечером, ставят чайник, накрывают стол, спорят о мелочах и не ждут звонков от мёртвых.

Валентина Егоровна сразу поняла по их лицам, что произошло что-то новое.

— Что случилось?

Вера сняла пальто, положила сумку на стул и только потом ответила:

— Мне звонил отец.

Старуха не ахнула и не переспросила «какой отец», будто сама возможность такого звонка уже давно жила где-то среди тех вещей, о которых в Североморске предпочитают говорить шёпотом.

Она только медленно перекрестилась.

— Что он сказал?

— Чтобы я не слушала первую кассету при Артёме.

На этот раз изменилось лицо самого Артёма. Очень сдержанно, почти незаметно, но Вера увидела, как в его взгляде появилась жёсткость, похожая не на обиду, а на усталое раздражение человека, которого пытаются вытолкнуть из чужой игры.

— И вы, конечно, теперь думаете, что это причина оставь-

ся одной? — спросил он.

— Я пока ничего не думаю.

— Тогда подумайте вот о чём: если дом хочет разделить людей, он сначала делает именно это.

Валентина Егоровна поставила на стол чашки, но руки у неё дрожали чуть сильнее, чем утром.

— Может, не надо сегодня, Верочка?

— Надо.

Ответ прозвучал быстрее, чем она успела осмыслить его сама. Вера чувствовала, что приближается граница, после которой пути назад уже не будет, но именно поэтому остановиться становилось невозможно. Каждая новая деталь делала происходящее страшнее, но одновременно и яснее: родители не были безумцами. Они с чем-то боролись. Или что-то удерживали. И теперь эта тяжесть переходила к ней.

Кассетный магнитофон Валентина Егоровна принесла из кладовой. Старый, пыльный, с треснувшей крышкой, он оказался почти таким же, как тот, что стоял в кабинете отца. Когда старуха ставила его на стол, Вера заметила, как Артём невольно отвёл взгляд, будто сам звук работающей плёнки уже вызывал у него физическое напряжение.

— Какую будете слушать? — спросил он.

Вера достала коробку с кассетами. Пальцы медленно перебирали подписи: «Шторм», «После двери», «Голос И.», «Маяк». Наконец она остановилась на той, что лежала отдельно на столе в кабинете.

«Сергей. Ночь после шторма».

— Эту.

Артём сразу поднял голову.

— Возможно, это и есть первая.

— Тогда тем более.

Он хотел что-то сказать, но замолчал. Вера поняла: он уже знает, что не сможет её остановить.

Она вставила кассету в магнитофон. Пластик щёлкнул громко, почти резко. Потом раздалось шуршание ленты, сухой механический треск, и несколько секунд была только пустота, наполненная далёким шумом моря.

Шум волн записали слишком близко, и от этого звук получился не романтичным, а тяжёлым, почти телесным, словно вода дышала прямо в микрофон. Потом слышались шаги, скрип двери и мужской голос.

Голос Сергея Морозова.

Вера почувствовала, как всё внутри сжалось.

— Запись от двенадцатого ноября, — сказал отец устало. — Если Ира всё-таки даст тебе это слушать, значит, я не ошибся и дом начал повторяться.

На кухне стало так тихо, что даже ветер за окном словно отступил дальше.

— Сейчас три часа восемнадцать минут ночи. Шторм закончился час назад, но вода у северной стены всё ещё поднимается. Я снова слышал шаги наверху, хотя Вера спит со мной внизу, а Ира закрыла второй этаж ещё вечером. Если

кто-то когда-нибудь будет слушать эту запись, кроме меня, значит, дальше всё пошло хуже, чем я надеялся.

Голос отца прервался кашлем, потом зашуршали какие-то бумаги.

— Сегодня я впервые увидел комнату полностью. Раньше дверь появлялась только на несколько секунд, и всегда в конце коридора, но этой ночью она осталась дольше. Ира её тоже видела. Она не хочет говорить вслух, но я знаю, что видела, потому что после этого она перестала подниматься наверх одна.

Вера медленно перевела взгляд на Артёма. Тот сидел неподвижно, глядя на магнитофон так, будто звук может в любой момент стать опаснее самого содержания слов.

На записи снова послышался шум моря, потом тихий мужской выдох.

— Комната не похожа на остальные помещения дома. Она... неправильная. Там нет окон, хотя снаружи в этой части стены должны быть окна. И звук внутри другой. Когда заходишь, кажется, будто дом остаётся очень далеко, хотя ты всё ещё стоишь в нём. Сначала я думал, что это из-за сырости или старых перекрытий, но потом понял: дело не в комнате. Дело в том, что она не всегда находится в одном месте.

Валентина Егоровна тихо перекрестилась.

— Сергей, не надо... — прошептала она почти бессознательно, будто обращалась не к записи, а к живому человеку.

Голос на кассете продолжал:

— Внутри были вещи. Старые детские игрушки, мокрая одежда, фотографии людей, которых я никогда не видел. Некоторые снимки двигались, как будто плёнка ещё не застыла. И ещё там был звук. Кто-то плакал за стеной. Я подумал, что это Вера проснулась и ищет нас, но, когда вернулся вниз, она спала.

Вера почувствовала, как холод медленно проходит по спине. Она вспомнила слова Артёма о девочке, плачущей наверху, вспомнила материнское письмо: «дом иногда ошибается возрастом».

— Ира считает, что дом хранит тех, кого забрал, — сказал отец уже тише. — Я не верю в мистику, но я видел фотографии людей, пропавших здесь за последние двадцать лет. Некоторые из них появились в комнате раньше, чем официально исчезли. Я проверял даты.

На кухне щёлкнула батарея, и Вера вздрогнула так резко, будто звук пришёл из записи.

— Самое страшное не это, — продолжал Сергей Морозов. — Самое страшное — то, что комната показывает не страхи, а надежду. Тыходишь туда и сначала видишь того, кого хочешь вернуть. Или то, что хочешь исправить. Поэтому люди возвращаются.

Лицо Артёма стало совсем неподвижным.

— Если со мной что-то случится, Ира должна увезти Веру отсюда, как можно дальше от моря. Потому что дом уже начал узнавать её голос.

Запись прервалась резким шумом. На несколько секунд слышались шаги, потом далёкий металлический удар.

И вдруг — детский смех.

Очень тихий, почти ласковый.

Вера почувствовала, как её пальцы сами вцепились в край стола.

— Папа? — прозвучал на записи детский голос.

Это была она.

Маленькая Вера.

Не память о голосе, а настоящий звук ребёнка, живого, сонного, растерянного.

На плёнке слышалось резкое движение, будто магнитофон схватили.

— Нет, — голос отца впервые сорвался. — Вера внизу.

Снова шаги. Очень быстрые.

Потом тяжёлое дыхание.

И тихий женский голос Ирины:

— Серёжа, не оборачивайся.

Запись оборвалась.

На кухне воцарилась тишина, настолько густая, что Вере казалось — если кто-нибудь сейчас заговорит слишком громко, стекло на окнах треснет.

Магнитофон продолжал тихо шуршать пустой плёнкой.

Валентина Егоровна сидела, прижав руку ко рту. Артём медленно поднялся и выключил магнитофон. Его движения были осторожными, почти уважительными, словно он имел

дело не с техникой, а с чем-то живым.

Вера не сразу поняла, что дрожит.

— Это мой голос, — сказала она тихо. — Я себя помню в детстве. Это точно я.

— Да, — ответил Артём.

— Но отец сказал, что я была внизу.

Никто не ответил.

За окном ветер ударил в стекло так резко, что дом Валентины Егоровны вздрогнул. Где-то далеко, со стороны моря, глухо прогремело, будто огромная волна ударилась о бетонный пирс.

Вера смотрела на выключенный магнитофон и чувствовала, как внутри неё медленно рушится последняя возможность считать всё происходящее совпадением, болезнью, коллективным безумием маленького северного города. Голос отца был настоящим. Голос ребёнка — тоже. И если Сергей Морозов тогда действительно услышал дочь наверху, пока настоящая Вера спала внизу, значит, дом начал повторять её ещё тридцать лет назад.

Артём подошёл к окну и резко отдернул занавеску.

— Что? — спросила Вера.

Он не ответил сразу.

Тогда она тоже встала и подошла ближе.

Напротив дома Валентины Егоровны, через дорогу, у калитки усадьбы Морозовых стояла маленькая девочка в красной куртке.

Мокрые волосы прилипли к её щекам, руки были опущены вдоль тела, а лицо скрывалось в тени капюшона.

Но куртку Вера узнала сразу.

Именно в ней она была на фотографии с отцом на берегу.

Глава 11

Девочка у калитки

Девочка стояла у калитки так неподвижно, что в первые мгновения Вера ещё могла бы принять её за странно совпавшую игру теней, за красное пятно старой краски на заборе, за обман зрения, вызванный записью, недосыпом и тем особенным напряжением, после которого человеческий мозг начинает достраивать внешнюю реальность из внутренних страхов. Но ветер шевелил край её капюшона, дождь стекал с рукавов, мокрые волосы тонкими тёмными прядями липли к щекам, и чем дольше Вера смотрела, тем труднее становилось удерживаться за мысль, что перед домом Морозовых стоит не ребёнок.

Красная куртка была слишком узнаваемой. Вера помнила эту вещь: запах мокрой ткани после прогулок у моря, тугий замок, который постоянно заедал у подбородка, материнские пальцы, резко застёгивающие ворот, отцовскую ладонь на плече, вспышку фотоаппарата на берегу, когда ветер почти сбивал её с ног. Она выросла, уехала, сменила десятки пальто и курток, вычеркнула из жизни почти всё, что связывало её с Североморском, но эта красная ткань сейчас стояла напротив, у калитки, как невозможно точная деталь, вынутая из самой глубины памяти и поставленная под дождь.

Валентина Егоровна тоже подошла к окну, но не сразу

стала смотреть наружу. Она сначала перекрестилась, потом осторожно отодвинула занавеску шире, и её лицо в жёлтом кухонном свете стало таким серым, будто за несколько секунд из него ушла кровь. Артём стоял ближе всех к стеклу, напряжённый, с неподвижным взглядом; его рука уже лежала на ручке окна, хотя открыть его он не решался. Вера заметила, что он смотрит не только на девочку, но и на дом за её спиной, на тёмные окна второго этажа, на крыльцо, на мокрую дорожку, словно пытался понять, откуда именно она появилась и сколько времени уже стоит там, пока они слушали запись.

— Это ребёнок, — сказала Вера, и собственные слова показались ей не утверждением, а слабой попыткой вернуть происходящему обычный смысл. — Там ребёнок. Нужно выйти.

Артём повернулся к ней так резко, что она впервые увидела в его лице не сдержанность, а почти злость.

— Не нужно.

— Она стоит под дождём.

— Это не значит, что ей холодно.

Вера отшатнулась от этой фразы сильнее, чем от любого звука в доме. В ней было что-то жестокое, недопустимое, и именно поэтому почти убедительное. Артём говорил не как человек, равнодушный к ребёнку, а как тот, кто уже однажды сделал шаг навстречу подобному видению и до сих пор расплачивался за этот шаг. Но Вера не могла смотреть на

маленькую фигуру у калитки и просто стоять в тёплой кухне, потому что всё в ней сопротивлялось этому: и взрослый здравый смысл, и детская память, и странная, почти физическая боль узнавания.

— А если это настоящая девочка? — спросила она. — Если кто-то потерял ребёнка? Если она замёрзла, испугалась, заблудилась?

— Тогда она постучит в этот дом, а не будет стоять напротив у калитки Морозовых в куртке, которая принадлежала вам тридцать лет назад.

Вера закрыла глаза на мгновение, но красная куртка осталась перед ней, будто отпечаталась на внутренней стороне век. Она понимала, что Артём прав, и именно это было невыносимо. Если бы девочка выглядела иначе, в чужой одежде, с незнакомым лицом, можно было бы броситься наружу, позвонить в полицию, делать всё, что делают нормальные люди, когда видят ночью ребёнка под дождём. Но дом выбрал не просто образ ребёнка. Он выбрал её. Ту часть Веры, которую она не могла оставить у калитки без чувства, похожего на предательство.

Девочка подняла голову. Лица по-прежнему было не видно полностью: капюшон бросал тень, дождь размывал черты, стекло отражало лампу кухни. Но Вера почувствовала, что та смотрит именно на неё. Не на Валентину Егоровну, не на Артёма, не на окно вообще, а прямо сквозь стекло, сквозь тёплый воздух кухни, сквозь годы, которые отделяли взрос-

люю женщину от семилетней девочки в красной куртке. Потом маленькая фигура медленно подняла руку и указала на дом. Не на крыльцо, не на калитку, а выше, к окнам второго этажа.

— Она показывает наверх, — прошептала Валентина Егоровна.

— Я вижу, — ответил Артём.

— Нет, не так, — сказала Вера, внезапно почувствовав, как в памяти шевельнулось что-то тёмное и вязкое. — Она показывает не просто наверх. Там что-то было.

Никто не спросил, что именно. Вера всматривалась в красную куртку, в маленькую поднятую руку, в застывшую позу, и вдруг перед ней мелькнула другая картинка: не нынешняя улица, не мокрый забор, не дом напротив, а коридор второго этажа, жёлтый свет под дверью, материнская рука, до боли сжимающая её запястье, и где-то за стеной — детский смех, похожий на её собственный.

— Вера, отойдите от окна, — сказал Артём.

Она не двинулась. Девочка у калитки сделала шаг вперёд. Маленькая рука легла на мокрую деревянную перекладину, и калитка, которую Вера утром сама закрывала, медленно подалась внутрь. Это движение было почти бесшумным, но ей показалось, что она слышит старый скрип за сотню метров, через стекло, дождь и собственный пульс. Девочка вошла во двор Морозовых и остановилась на садовой дорожке, там, где мокрые яблони склонялись друг к другу, образуя

тёмный проход к крыльцу.

— Она идёт в дом, — сказала Вера.

— Она хочет, чтобы вы пошли за ней, — ответил Артём.

— Это не одно и то же.

Девочка действительно не спешила. Она будто знала, что за ней смотрят, и каждое её движение было рассчитано на наблюдателя. Вера видела, как красная куртка медленно перемещается между деревьями, как рукав задевает мокрую ветку, как маленькая фигура на мгновение исчезает за стволом и появляется снова ближе к крыльцу. У двери дома она остановилась и повернулась. Теперь лицо было видно чуть лучше.

Вера не успела рассмотреть черты, но увидела рот. Девочка что-то сказала, беззвучно для них, за стеклом и расстоянием, но губы сложились так знакомо, что Вера поняла раньше, чем успела испугаться.

«Папа».

Это слово не прозвучало в кухне, но всё равно оказалось там. Оно вошло в неё не через слух, а через память, как иногда возвращается давно забытая мелодия, и вместе с ним пришёл запах мокрой шерсти, соль на губах, отцовский голос из-за двери: «Верочка, открой мне».

Вера отступила от окна.

— Я не пойду туда, — сказала она, и только после этого поняла, что произнесла фразу вслух.

Артём посмотрел на неё внимательно, будто ожидал не

этих слов, а движения к двери, и в его лице на секунду мелькнуло облегчение.

— Хорошо.

Но девочка у крыльца снова подняла руку. На этот раз она не указывала на второй этаж. Она приложила ладонь к груди, потом протянула её вперёд, будто показывала что-то маленькое, спрятанное в кулаке. Вера не понимала жеста, пока Валентина Егоровна не издала тихий, болезненный звук.

— Господи, — прошептала она. — Это же не вы.

Вера повернулась к ней.

— Что?

Старуха смотрела в окно так, словно увидела не призрак, а ошибку в собственной памяти, наконец обнаруженную спустя много лет.

— Куртка ваша, а жест не ваш. Так делала другая девочка. Марина Сомова. Она всё время прятала в кулаке камешки и показывала только тем, кому доверяла.

Артём резко посмотрел на Валентину Егоровну.

— Вы уверены?

— Я помню детей, которые пропали, Артём. Таких не забывают.

Имя Марина Сомова не вызвало у Веры ясного воспоминания, но тело отреагировало раньше сознания. Внутри стало холодно, как на той лестнице перед несуществующей дверью. Она уже слышала о второй девочке — в разговорах, намёках, в той страшной пустоте, которая возникала всякий

раз, когда речь заходила о ночи исчезновения отца. Теперь у этой пустоты появилось имя.

— Кто она? — спросила Вера и Валентина Егоровна с трудом отвела взгляд от окна.

— Дочка учительницы из старой школы. Она пропала через два дня после вашего отца. Ей было семь. Почти как вам.

Девочка у дома Морозовых стояла у самой двери. Потом, не толкнув её и не взявшись за ручку, просто исчезла в тёмном проёме, словно дверь была открыта заранее. Но Вера совершенно точно помнила, что утром они закрывали её на ключ.

Артём уже шёл к прихожей Валентины Егоровны.

— Я проверю дом снаружи, — сказал он. — Вы обе остаётесь здесь и не открываете дверь никому, кроме меня. Если увидите ребёнка у окна, не говорите с ней.

— Артём, — позвала Вера.

Он остановился, но не обернулся сразу.

— Вы же сами сказали, что нельзя идти за тем, что дом показывает.

— Я и не иду за ней, — ответил он после короткой паузы.

— Я иду проверить, закрыта ли дверь.

— Вы врётё.

Он повернулся. В его глазах было что-то жёсткое и усталое, но под этим — страх, который он больше не успевал прятать.

— Возможно. Но если дверь действительно открыта, её

нужно закрыть до темноты.

Валентина Егоровна подошла к нему быстрее, чем Вера ожидала от её возраста, и схватила за рукав почти так же, как, по его рассказу, когда-то хватала Ирина Морозова.

— Не один.

— Я не войду внутрь.

— Так все говорят, пока не услышат нужный голос.

Эта фраза остановила его сильнее руки. Вера увидела, как на лице Артёма дрогнуло что-то личное, потаённое. Может быть, имя брата, о котором он ещё не рассказывал, может быть, чужой детский плач, может быть, та самая ночь, когда он уже был в доме и едва не поднялся на второй этаж. Дом знал, чьими голосами говорить с каждым. И, судя по тому, как Артём отвёл взгляд, для него там тоже кто-то оставался.

— Тогда мы пойдём вместе, — сказала Вера.

Он посмотрел на неё так, будто хотел возразить немедленно, но она не дала ему этого сделать.

— Не внутрь. До калитки. Я должна увидеть, открыта ли дверь. Если это всё игра дома, как вы говорите, значит, он показывает не только страх. Он показывает куски прошлого. А Марина Сомова связана со мной, иначе она не пришла бы в моей куртке. Валентина Егоровна покачала головой.

— Верочка, вы сейчас рассуждаете так, как рассуждала ваша мать в первые годы. Ей тоже казалось, что если собрать достаточно кусочков, дом станет понятным. Но некоторые вещи не становятся безопаснее от того, что мы даём им объ-

яснение.

— Я не ищу безопасности, — ответила Вера. — Я ищу правду.

Сказав это, она вдруг поняла, насколько опасно звучит такая фраза в этом городе. Здесь правда была не светом, а глубиной; не ключом, а дверью, за которой неизвестно кто ждёт. Но отступить уже было невозможно. Марина Сомова. Красная куртка. Жест с камешком. Отец, который сказал не слушать первую кассету при Артёме. Мать, написавшая, что самое опасное в доме — надежда. Всё это стягивалось в один узел, и Вера чувствовала, что если сейчас позволит Артёму уйти одному, снова окажется в положении ребёнка, которого уводят вниз по лестнице, ничего не объяснив.

Через несколько минут они вышли на улицу втроём: Артём впереди, Вера рядом, Валентина Егоровна чуть позади, в старом пальто, наброшенном поверх домашней кофты. Дождь почти прекратился, но воздух был сырой, тяжёлый, наполненный запахом моря и мокрой земли. Дом Морозовых стоял напротив, и калитка его двора действительно была распахнута. Вера остановилась у дороги, не переступая границы, и увидела на садовой дорожке маленькие мокрые следы.

Они шли от калитки к крыльцу.

Следы были детскими, босыми, и в каждом блестела вода, будто девочка пришла не с улицы, а прямо из моря.

Артём медленно подошёл к калитке, нагнулся и коснулся

одного отпечатка пальцами. Потом поднёс руку к лицу и поморщился.

— Соль, — сказал он.

Валентина Егоровна тихо заплакала, но без всхлипов, почти беззвучно, как плачут старые люди.

— Марина пропала у воды, — произнесла она. — Её искали трое суток. Мать потом говорила, что ночью слышала, как девочка стучит в окно и просит открыть, потому что ей холодно. А через неделю нашли её красный камешек у вашего крыльца, Верочка. У самого порога.

Вера смотрела на следы, и мир вокруг начинал медленно сужаться. Она вспомнила, как в детстве у неё была коробка с морскими камнями, как она не любила делиться ими, как однажды какая-то девочка действительно показала ей маленький красный камешек, гладкий, словно капля застывшей крови. Воспоминание было мутным, неполным, но живым. Они сидели где-то на берегу или во дворе школы. Девочка смеялась. У неё были светлые волосы и варежки на резинке. Потом картинка оборвалась, как плёнка.

— Я её знала, — сказала Вера.

Артём поднял на неё взгляд.

— Марину?

— Кажется, да.

В эту секунду входная дверь дома Морозовых медленно приоткрылась. Не широко, не так, будто кто-то выходил, а ровно настолько, чтобы внутри показалась полоска темноты.

Вера почувствовала, как рука Артёма легла ей на плечо, удерживая на месте. Но она и сама не двинулась. Потому что из темноты не вышла девочка. На пороге лежал маленький красный камешек, мокрый, гладкий, с тёмной прожилкой посередине.

Такой, какой она только что вспомнила.

И рядом с ним, на внутренней стороне порога, водой были выведены два детских слова:

«Вера помнит».

Глава 12

Вера помнит

Несколько секунд никто не произносил ни слова, потому что слова, выведенные водой на внутренней стороне порога, были слишком простыми, почти детскими, и именно поэтому казались страшнее, чем любой крик, чем любой голос из-за двери, чем любое окно, само распахнувшееся во время шторма. Вера смотрела на мокрые буквы, на маленький красный камешек рядом с ними, на тёмный проём прихожей, из которого тянуло холодом и запахом старого дерева, и чувствовала, как внутри неё поднимается не воспоминание даже, а предвестие воспоминания, то глухое движение в глубине сознания, когда забытое ещё не вышло наружу, но уже начинает давить изнутри.

Артём стоял рядом, удерживая её за плечо не грубо, но твёрдо, и это прикосновение было единственным, что мешало ей сделать шаг вперёд. Она понимала, что не должна входить в дом сейчас, когда дверь открылась сама, когда на пороге лежит вещь из чужого исчезновения, когда вода пишет её имя так уверенно, словно дом не просто знает её, а давно имеет на неё право. И всё же в этом маленьком красном камне было столько силы, что он тянул её к себе больше, чем голос матери ночью, больше, чем записи отца, больше, чем все недоговорённости Североморска. Потому что голос можно

принять за обман, письмо — за посмертный бред, фотографию — за случайное искажение, но вещь из детства, возвращённая через тридцать лет к порогу дома, касалась той части Веры, которая ещё не умела защищаться рассудком.

— Не заходите, — тихо сказал Артём.

Она не обернулась.

— Я не собираюсь заходить.

— Вы уже почти сделали это.

Вера почувствовала, что он прав, и от этого стало почти стыдно. Её тело действительно слегка подалось вперёд, как будто не нуждалось в решении головы. Мокрые детские следы на дорожке вели к крыльцу, потом обрывались у порога, и в этой незавершённости было что-то невыносимое: ребёнок вошёл в дом, но не оставил следов внутри, словно за границей двери законы воды, веса и присутствия переставали действовать.

Валентина Егоровна стояла позади, прижимая к груди ладонь, и Вера слышала её дыхание — тяжёлое, старческое, неровное. Она плакала уже не о призраке и не о доме, а о живой девочке, которая когда-то действительно ходила по этим улицам, держала в кулаке красный камень, доверяла кому-то свои маленькие тайны, а потом исчезла.

— Марина Сомова была моей подругой? — спросила Вера, не отрывая взгляда от камешка.

Старуха ответила не сразу, и в её молчании Вера услышала осторожное перебирание прошлого, как если бы та искала

среди множества давних лиц одно, нужное.

— Вы играли вместе недолго, всего одно лето, но дети в таком возрасте быстро становятся близкими, особенно если взрослые заняты своими бедами, — сказала Валентина Егоровна наконец. — Марина была тихая, ласковая девочка, не из тех, кто лезет первой, но если уж привяжется к кому-то, то всем сердцем. Её мать, Нина Сомова, преподавала русский в старой школе, отец работал на судоремонтном, они жили у самой дороги к маяку, в жёлтом доме с резными ставнями, которого теперь уже нет. Марина часто приходила к вам во двор, потому что Ирина Алексеевна почему-то разрешала ей, хотя других детей в дом не пускала почти никогда.

Вера медленно повернулась к соседке. Эта подробность зацепила её сильнее, чем рассказ о пропаже. Мать, которая всю жизнь выстраивала вокруг дома невидимые границы, разрешала одной чужой девочке приходить во двор. Почему? Из жалости? Из доверия? Или потому, что Марина уже была связана с домом раньше, чем все поняли?

— Я её не помню, — сказала Вера.

— Иногда мы не помним именно тех, кто был к нам ближе всего, потому что потерять их оказалось слишком больно., — ответила Валентина Егоровна, и эта фраза прозвучала так, будто она говорила не только о Марине.

Артём осторожно прошёл к крыльцу, не переступая порога, присел и посмотрел на мокрые буквы. Он не тронул камень рукой, только наклонился ближе, потом осветил фона-

рём внутрь прихожей. Вера видела, как луч скользнул по полу, по материнскому пальто, по лестнице, по закрытой двери на второй этаж, и на мгновение ей показалось, что в глубине дома всё стоит неправильно, слишком неподвижно, словно вещи не просто находятся на своих местах, а притворяются вещами.

— Буквы уже исчезают, — сказал Артём.

И правда, вода на пороге начала расползаться, терять форму, впитываться в дерево. Слова «Вера помнит» медленно превращались в два тёмных пятна, и от этого Вере вдруг стало страшно иначе: не за себя, не за дом, а за само воспоминание, которое сейчас снова могло уйти под поверхность, как ушла в дерево вода, оставив лишь след, который потом можно будет назвать сыростью.

— Я должна забрать камень, — сказала она.

— Нет.

— Если он исчезнет, как буквы, у меня ничего не останется.

— У вас останется то, что вы увидели.

— Этого мало.

Артём выпрямился и посмотрел на неё с раздражением, которое на этот раз не пытался скрыть.

— Дом даёт вещи не просто так. Если вы возьмёте то, что он положил у порога, вы примете приглашение.

— А если это не дом положил?

— Тогда кто?

Он задал вопрос спокойно, но за ним стояла вся невозможность происходящего. Вера не ответила. Она снова посмотрела на красный камешек и вдруг почти вспомнила прикосновение: гладкая влажная поверхность, нагретая детской ладонью, голос девочки, говорящей что-то важное, но пока неразличимое. Воспоминание было рядом, совсем рядом, будто за тонкой стеной, но стоило ей попытаться удержать его, оно уходило глубже.

— Марина однажды дала мне такой камень, — сказала Вера медленно. — Или показывала. Я не уверена. Мы были у моря или во дворе школы. Она сказала, что он исполняет желание, если спрятать его так, чтобы никто взрослый не нашёл.

Валентина Егоровна тихо всхлипнула, и этот звук подтвердил воспоминание раньше слов.

— Она всем говорила про желания. У неё была целая коробочка камней. После её исчезновения Нина весь дом перевернула, искала эту коробку, будто если найдёт её, то найдёт и дочь.

Вера прикрыла глаза, позволяя обрывку прошлого развернуться чуть шире. Две девочки сидят на корточках у влажного песка, ветер треплет волосы, Марина зажимает что-то в кулаке и не сразу показывает. «Только не говори твоей маме», — говорит она, или Вера сама добавляет эту фразу теперь, потому что мать в её детстве была запретом, стоящим почти у каждого воспоминания. Потом красный камень ло-

жится на её ладонь, тяжёлый, гладкий, удивительно тёплый для вещи, найденной у холодного моря. А дальше — пустота, резкий разрыв, как если бы кто-то вырезал из плёнки несколько кадров.

— Почему я ничего не помню после этого? — спросила она почти шёпотом.

Артём убрал фонарь.

— Потому что, возможно, вам помогли забыть.

Она резко посмотрела на него.

— Мать?

— Или вы сами. Память не всегда спрашивает разрешения, когда закрывает дверь.

Вера не могла решить, утешает эта мысль или делает всё хуже. Если мать действительно помогла ей забыть Марину, значит, Ирина не просто скрывала правду о доме, а вмешалась в самое личное — в её детское право помнить собственную жизнь. Но если Вера забыла сама, значит, в том лете было что-то настолько страшное, что сознание семилетней девочки предпочло отдать целую подругу темноте, лишь бы выжить.

Входная дверь дома тихо качнулась от ветра, и петли протяжно застонали. Все трое вздрогнули почти одновременно, хотя звук был обычный, объяснимый, даже ожидаемый. Артём шагнул вперёд, взялся за ручку снаружи и медленно потянул дверь на себя, закрывая её, но за секунду до того, как створка стала на место, из глубины прихожей донёсся сла-

бый звук, похожий на детский смех, приглушённый стенами и расстоянием. Вера почувствовала, как всё тело напряглось, но не сдвинулась.

— Закрывай, — тихо сказала Валентина Егоровна.

Артём захлопнул дверь и повернул ключ, который всё ещё торчал в замке снаружи. Потом снял его, протянул Вере и только тогда посмотрел на камень у порога. В его лице было сомнение, и это сомнение Вера заметила сразу. Он тоже понимал, что оставить камень здесь — значит позволить дому забрать обратно единственную вещь, которая связывает Марину Сомову с нынешним днём.

— Я возьму его, но не руками, — сказал он наконец.

Вера не стала спорить. Артём достал из кармана чистый носовой платок, наклонился и осторожно завернул красный камешек, стараясь не касаться поверхности. Этот жест был таким точным, почти следовательским, что на мгновение Вере стало легче: предмет перестал быть приманкой и стал уликой. Пусть странной, невозможной, но всё-таки уликой, которую можно положить на стол, рассмотреть при свете, сопоставить с рассказами, фотографиями, записями.

Когда они вернулись в дом Валентины Егоровны, кухня уже не казалась безопасной. После увиденного за окном даже её тепло, занавески, чашки, запах пирогов и старых трав были как тонкий круг света, за пределами которого сгушалась та же самая тьма. Валентина Егоровна закрыла дверь на оба замка, задвинула щеколду, потом почему-то проверила

окна, хотя было ясно, что никакая щеколда не остановит то, что умеет появляться в голосах, фотографиях и памяти.

Артём положил платок с камнем на середину кухонного стола. Никто не спешил разворачивать его. Вера села напротив, чувствуя, как дрожь постепенно уходит из рук и сменяется странной тяжестью во всём теле. Ей казалось, что она не просто увидела призрак девочки, а прикоснулась к какому-то внутреннему слою собственной жизни, где всё давно лежит нетронутым, мокрым, холодным и ждёт, когда она наконец повернётся к нему лицом.

— Мне нужно узнать о Марине, — сказала она. — Всё, что можно.

Валентина Егоровна поставила перед ней чашку, но сама не села. Она подошла к окну, посмотрела на дом Морозовых, потом плотно задёрнула занавески.

— Тогда вам нужно говорить не со мной, а с её матерью. Вера подняла глаза.

— Она жива?

— Жива, если это можно назвать жизнью. Нина Павловна давно почти ни с кем не общается. После исчезновения Марины она продержалась несколько лет в школе, потом ушла, продала дом у маячной дороги и переехала в старую квартиру возле кладбища. Люди сначала ходили к ней, приносили еду, пытались утешать, а потом стали избегать, потому что чужое горе, если оно не заканчивается, со временем начинает пугать сильнее смерти.

— Она знает, что Марина была связана с нашим домом?
Старуха медленно села, сложив руки на столе.

— Она считала, что ваша мать знает больше, чем говорит. В первые годы Нина Павловна приходила к Ирине Алексеевне почти каждую неделю. Иногда они разговаривали тихо, иногда ссорились так, что я слышала через дорогу. Потом однажды Нина вышла оттуда белая, как мел, и сказала мне, что в этот дом больше не войдёт, даже если Марина сама позовёт её из окна.

— Почему?

— Не знаю. Ирина никогда не рассказала, а Нина после того дня перестала произносить фамилию Морозовых.

Вера услышала в этих словах не обвинение, но возможность обвинения, и холод внутри усилился. Мать Марины считала, что Ирина что-то знает. Девочка появилась у дома в Вериной куртке. На пороге появились слова: «Вера помнит». Всё это медленно, безжалостно поворачивалось к самой Вере, как компас к северу, и ей начинало казаться, что исчезновение Марины не было просто соседской трагедией, случайно совпавшей с исчезновением отца. Оно лежало ближе. Возможно, намного ближе, чем ей позволили помнить.

— Я хочу к ней сегодня, — сказала Вера.

Артём, до этого молчавший, сразу покачал головой.

— Сегодня похороны вашей матери.

— Похороны завтра.

— Сегодня подготовка, документы, ритуальная служба,

кладбище. И шторм к вечеру. Вам нельзя сейчас распыляться на всё сразу.

— Нельзя? — Вера посмотрела на него почти с вызовом.

— Вы опять будете решать, что мне можно?

Он выдержал её взгляд, но ответил мягче, чем она ожидала.

— Я пытаюсь не дать вам провалиться в этот дом полностью за два дня.

Эта фраза лишила её части злости. Потому что он снова назвал то, что происходило на самом деле. Вера приехала похоронить мать, а вместо этого всё быстрее уходила в историю, где мёртвые звонили по телефону, исчезнувшие дети стояли под дождём, а живые говорили так, будто давно смирились с невозможным.

— Тогда после похорон, — сказала она. — Но я всё равно поговорю с Ниной Сомовой.

Валентина Егоровна вздохнула.

— Если она вас примет.

— А если нет?

— Тогда, может быть, это будет милостью для вас обеих.

Вера не ответила. Её взгляд снова вернулся к платку на столе. Красный камешек был внутри, маленький, тяжёлый, реальный. Он лежал между ними как молчаливое доказательство того, что прошлое не просто возвращается, а выбирает форму, в которой его невозможно не узнать.

Ближе к полудню Артём уехал на службу, пообещав вер-

нуться до вечера и отвезти Веру в ритуальную службу ещё раз, если понадобится. Перед уходом он попросил не разворачивать платок без него и не слушать больше кассеты. Вера не стала обещать насчёт кассет, и он это понял, но не стал давить. Только задержался в дверях на мгновение и сказал, что иногда дом не лжёт целиком, потому что полуправда надёжнее тянет человека туда, куда ему не следует идти.

Когда он ушёл, Валентина Егоровна отправилась в соседнюю комнату искать старые вырезки о пропаже Марины, а Вера осталась на кухне одна. Снаружи снова начинал накрапывать дождь, и капли ложились на стекло так тихо, словно кто-то касался окна подушечками пальцев. Она долго сидела неподвижно, потом всё-таки взяла платок и медленно развернула его.

Камешек лежал на белой ткани, гладкий, красный, с тёмной прожилкой посередине. Вера протянула руку и коснулась его одним пальцем.

Воспоминание пришло сразу, без предупреждения, с такой силой, что она перестала видеть кухню.

Солнце низко над морем, хотя воздух холодный. Марина сидит рядом с ней на мокром бревне у старого сарая за домом Морозовых и держит в ладони красный камень. У неё светлые волосы, грязные коленки, серьёзные глаза и голос, который Вера вдруг слышит так ясно, будто девочка сидит рядом.

— Если дверь появится, нельзя говорить взрослым, — го-

ворит Марина. — Они всё испортят.

— Какая дверь? — спрашивает маленькая Вера.

Марина смотрит на второй этаж дома и улыбается так, будто знает тайну, которая делает её старше.

— Та, где исполняются желания.

Вера отдёрнула руку от камня и снова оказалась в кухне Валентины Егоровны. Сердце билось быстро, во рту пересохло, а за окном дождь стал сильнее. Теперь она вспомнила. Не всё, но достаточно, чтобы понять: когда-то дверь обещала чудо.

Глава 13

Желание

Воспоминание не исчезло сразу, как это часто бывает со снами или случайными вспышками прошлого, которые всплывают на секунду и тут же растворяются, оставляя после себя только смутное чувство утраты. Оно осталось внутри Веры плотным, влажным, почти осязаемым, словно красный камень на столе не просто вернул ей одну сцену из детства, а приоткрыл в памяти узкую щель, за которой долго копилась вода. Она сидела на кухне Валентины Егоровны, глядя на свою руку, всё ещё слегка онемевшую после прикосновения к гладкой поверхности камня, и никак не могла избавиться от ощущения, что где-то совсем рядом, не за окном и не в доме напротив, а внутри неё самой, маленькая Марина Сомова продолжает сидеть на мокром бревне и ждать ответа на вопрос, который тогда, много лет назад, казался игрой.

Дверь, где исполняются желания.

Эти слова были слишком детскими, почти сказочными, но оттого и страшными, потому что дети редко выдумывают такие вещи из ничего. Они подслушивают взрослых, неверно понимают обрывки разговоров, складывают чужие страхи в свои игры, называют опасное чудом, потому что ещё не знают, как много зла умеет приходиться под видом обещания. Вера вдруг с мучительной ясностью поняла: дом, возможно,

никогда не начинал с ужаса. Он не сразу показывал мёртвых, не сразу говорил голосами исчезнувших, не сразу оставлял мокрые следы на лестнице. Сначала он должен был казаться тайной. Привилегией. Местом, куда допускают только избранных. И кто мог быть более беззащитным перед такой приманкой, чем две семилетние девочки, растущие среди взрослых, которые слишком много молчат?

Она снова посмотрела на камень. При дневном свете, под жёлтой лампой Валентины Егоровны, он не выглядел мистическим. Просто маленькая гладкая галька, красновато-бурая, с тёмной прожилкой, похожей на тонкую трещину. Такие камни дети собирают на берегу, складывают в карманы, забывают в ящиках, дарят друг другу как самые важные сокровища, а взрослые потом выбрасывают их при уборке, не понимая, что держат в руках целый кусок чьей-то жизни. Но теперь этот камень был уликой не только исчезновения Марины, но и Верининой памяти, и от него невозможно было отвернуться без ощущения, что она снова предаёт ту девочку, которой когда-то была.

Валентина Егоровна вернулась из соседней комнаты с картонной папкой, перевязанной бельевой резинкой, и остановилась на пороге, увидев раскрытый платок и камень на столе. Она не стала упрекать Веру за то, что та нарушила просьбу Артёма, только устало покачала головой, как человек, давно знающий, что некоторые запреты существуют не для того, чтобы их соблюдали, а чтобы потом было ясно, где

именно началось падение.

— Вы всё-таки тронули его, — сказала она тихо.

— Я вспомнила Марину.

Старуха медленно подошла к столу и села напротив. Папку она положила между ними, но не открыла сразу; её ладони остались на картоне, тонкие, костлявые, с маленькими коричневыми пятнами на коже, и Вере вдруг подумалось, что эти руки могли держать слишком много чужих тайн, потому что в маленьких городах старые соседки часто становятся не свидетелями даже, а хранилищами того, что не вошло ни в один протокол.

— Что именно? — спросила Валентина Егоровна.

Вера пересказала сцену у сарая: мокрое бревно, красный камень, детский голос Марины, фразу про дверь, где исполняются желания. Пока она говорила, воспоминание становилось чуть отчётливее, обрастало деталями, но вместе с тем ускользало в самом главном. Она видела Маринины руки, тонкие, грязные, с царапиной на костяшке. Видела край своей красной куртки. Видела серое море за домом и тёмное окно второго этажа. Но не могла вспомнить, что случилось после того, как Марина сказала про дверь. Будто дальше в памяти стояла та самая стена с выцветшими обоями, за которой когда-то ночью появилась невозможная ручка.

Валентина Егоровна слушала внимательно, не перебивая. Только когда Вера замолчала, она тяжело вздохнула и открыла папку. Внутри лежали газетные вырезки, пожелтевшие

листы с объявлениями о поиске, несколько фотографий, копии каких-то заявлений и ученическая тетрадь с розовой обложкой. На верхней вырезке был заголовок: «В Североморске продолжаются поиски семилетней Марины Сомовой». Фотография девочки под заголовком была чёрно-белой, зернистой, но Вера сразу узнала лицо, которое память до сих пор не решалась показать полностью: светлые волосы, крупные глаза, чуть серьёзный рот и то выражение детской доверчивости, которое становится особенно невыносимым, когда знаешь судьбу ребёнка.

— Нина Павловна раздала тогда всем такие объявления, — сказала Валентина Егоровна. — Клеила на остановках, у магазина, возле школы, на фонарях у дороги к маяку. Люди сначала помогали, ходили цепью вдоль берега, проверяли сараи, подвалы, заброшенные дома, потом начались слухи, потому что в маленьком городе никто долго не умеет просто сочувствовать. Всем нужно объяснение, виноватый, история, которую можно рассказать у себя на кухне так, чтобы стало не страшно за собственных детей.

Вера взяла вырезку, но пальцы так сильно сжались на бумаге, что та едва не надорвалась по сгибу.

— Её искали как пропавшую у моря?

— Сначала да. Считали, что могла уйти к берегу, поскользнуться, упасть в воду. После исчезновения вашего отца все и так были на нервах, а тут ещё ребёнок. Потом кто-то сказал, что видел Марину возле вашего дома незадолго до

пропажи, и город начал смотреть на Ирину Алексеевну иначе. Вера подняла голову.

— Мать допрашивали?

— Разговаривали. Участковый приходил несколько раз. Ирина говорила, что Марина в тот день не заходила, что вы болели и почти всё время были дома. Но Нина Павловна утверждала, что дочь ушла к вам. Она говорила, что Марина взяла с собой красный камень, потому что хотела показать его Вере.

Имя Веры, произнесённое в этой истории так буднично, ударило сильнее, чем обвинение. Она внезапно оказалась не взрослой женщиной, расследующей семейную тайну, а ребёнком из старого газетного дела, одной из последних, кто мог видеть Марину живой, и при этом единственной, кто ничего не помнит. Это незнание перестало быть пробелом и стало почти виной.

— Почему мне никто не говорил?

Валентина Егоровна посмотрела на неё с мягкой усталостью.

— Вам было семь лет. Вы после той недели почти не разговаривали. Врачи говорили, что у ребёнка шок после исчезновения отца, потом после пропажи Марины, потом Ирина увезла вас на месяц к родственникам в Архангельск, а когда вернула, вы уже не спрашивали о Марине. Как будто забыли.

— Дети не забывают подругу за месяц.

— Иногда забывают, если взрослые очень стараются по-

мочь им забыть.

Вера закрыла глаза. Слова были сказаны без обвинения, но мать снова возникла между ними — строгая, бледная, с ключом от второго этажа, с солью у порога, с привычкой решать, что дочери можно помнить, а что нет. Вера хотела возненавидеть её за это, но ненависть больше не приходила чистой. Теперь за каждым материнским поступком угадывался не только холод, но и страх, а страх не оправдывал, но мешал судить легко.

— Она стерла меня из этой истории, — сказала Вера.

— Может быть, она пыталась стереть историю из вас.

Валентина Егоровна придвинула к ней тетрадь с розовой обложкой. На ней детской рукой было написано: «Марина Сомова. Слова». Вера осторожно открыла первую страницу и увидела неровные строчки, списки слов, упражнения, маленькие рисунки на полях: домики, волны, кошка с длинными усами, несколько дверей, нарисованных с удивительной для ребёнка настойчивостью. На одной странице дверь была красной, на другой — чёрной, на третьей — очень узкой, с круглой ручкой и линией света внизу.

— Откуда это у вас? — спросила Вера.

— Нина Павловна дала мне через год после исчезновения. Сказала, что не может держать дома вещи, где Марина рисовала двери. Потом пожалела, приходила забрать, но я уже спрятала. Не знаю, правильно ли сделала. Тогда мне казалось, что если все начнут уничтожать то, что пугает, от

Марины вообще ничего не останется.

Вера листала тетрадь медленно. Почерк девочки был старательным, местами смешным, с буквами, которые прыгали по строке, но рисунки дверей становились всё тревожнее. В какой-то момент рядом с одной из них появилось детское предложение: «Там можно попросить, и оно даст». На следующей странице: «Только Вера не должна бояться». А ещё дальше, уже почти в конце тетради, среди упражнений по русскому языку, Марина написала фразу, от которой Вера почувствовала, как холод проходит под кожей: «Если дверь откроется, надо идти вместе, потому что она не пускает».

— По одному она не пускает, — повторила Вера шёпотом, как человек, проверяющий вкус яда на языке.

Валентина Егоровна смотрела на неё с болью.

— Я не знала, что это значит. Думала, детские фантазии. Марина вообще была мечтательная, любила придумать тайные места. Но после того, как ваш отец исчез, а потом она... В общем, я больше не могла смотреть на эти рисунки спокойно.

Вера вернулась к странице с фразой «Только Вера не должна бояться». Внутри неё снова начал подниматься обрывок воспоминания, более тёмный, чем предыдущий. Она и Марина стоят у лестницы на второй этаж. День, не ночь. Дом тихий, мать, кажется, в саду или на кухне. Марина держит её за руку, ладонь влажная, горячая, шепчет, что дверь появляется, когда очень сильно хочешь. Вера хочет увидеть

отца, который тогда ещё не исчез, или уже исчез? Воспоминание запутывалось в хронологии, и от этого становилось особенно страшно. Может быть, дверь обещала вернуть отца уже после той ночи. А может быть, она обещала что-то раньше, и именно поэтому отец исчез.

— Я должна поговорить с Ниной Сомовой сегодня, — сказала Вера.

Валентина Егоровна покачала головой.

— Сегодня у вас будет слишком много дел.

— Я не хочу откладывать, — ответила Вера, не повышая голоса. — Слишком много непонятного в моём доме, в ваших газетах, в этой тетради. От того, что я отложу разговор, мне станет только тревожнее.

Старуха ничего не ответила. Она только взяла с края стола очки, протёрла их концом фартука и снова надела, словно хотела видеть Веру яснее.

— Нина Павловна живёт на улице Кладбищенской, в старом кирпичном доме напротив нижних ворот. К ней лучше идти днём. И лучше не одной.

— Я дождусь Артёма.

— Артём не захочет вас вести.

— Почему?

— Потому что он знает, что Нина Павловна считает его семью виноватой в том, что тогда поиски свернули слишком рано.

Вера нахмурилась.

— Его семью?

Валентина Егоровна на мгновение пожалела, что сказала это, но назад уже не отступила.

— Отец Артёма был начальником поисковой группы. Тогда решили, что Марину унесло в море, хотя Нина кричала, что дочь нужно искать в домах. В вашем доме тоже. Но после обыска ничего не нашли, а море возвращало детские вещи: варежку, ленту, кусок шарфа. Все решили, что этого достаточно.

— А Артём?

— Артём был подростком. Его младший брат дружил с Мариной и тоже говорил, что она боялась не моря, а двери. Через несколько лет брат Артёма пропал во время шторма у старого маяка, и с тех пор Артём перестал считать детские слова глупостью.

Эта новая деталь отозвалась в Вере тяжёлым, почти болезненным узнаванием. Она вспомнила, как Артём говорил, что голос дома выбирает тех, по кому человек не перестал скучать, и теперь поняла, что за его сдержанностью всё это время стояло не только знание, но и собственная потеря. Дом говорил с ним тоже. Возможно, голосом брата. Возможно, поэтому он так боялся кассет, дверей, детского плача и всего, что обещает вернуть исчезнувших.

— Как звали его брата? — спросила Вера.

— Миша. Михаил Белов. Ему было одиннадцать.

За окном усилился ветер, и стекло тихо задрожало в ра-

ме. Вера посмотрела в сторону дома Морозовых, хотя занавески были закрыты и видеть его она не могла. Исчезновения больше не были отдельными трагедиями. Отец. Марина. Миша Белов. Люди, чьи имена произносили с паузой, будто каждое из них могло привлечь внимание того, что осталось за дверью.

Днём Вера снова занималась похоронами. Она ездила с Артёмом в ритуальную службу, на кладбище, в маленькую церковь у центральной площади, где священник, полный, усталый человек с добрыми глазами, говорил с ней о завтрашнем отпевании так мягко, будто заранее понимал: не всякое горе выражается слезами. Всё происходило в обычном порядке — бумаги, подписи, выбор места, короткие разговоры, — но теперь поверх каждого действия лежал второй слой. Когда Вера выбирала венок, она думала о том, что мать просила осмотреть северную стену. Когда подписывала квитанции, вспоминала слова о сорока днях. Когда священник спросил, была ли Ирина Алексеевна верующей, Вера вдруг увидела миски с солью у порогов, свечи, записки «запереть верх» и не знала, как ответить.

К вечеру небо стало темнеть раньше обычного. Тучи с моря надвигались низко, с тяжёлой сине-зелёной кромкой, и в воздухе появилось то особенное напряжение, которое бывает перед большой бурей, когда даже птицы исчезают, собаки становятся беспокойными, а люди начинают чаще смотреть в окна, не признаваясь себе, что ждут не просто погоды. Ар-

тём, вернув Веру к дому Валентины Егоровны, остался на крыльце и несколько минут говорил по телефону, отвернувшись к дороге. Его лицо было мрачным.

— Штормовое предупреждение усилили, — сказал он, когда вошёл. — Ночью лучше никому не выходить.

— Тогда к Нине Сомовой нужно идти сейчас.

Он посмотрел на неё так, как Валентина Егоровна предсказывала утром: с усталостью, сопротивлением и пониманием, что запрет только подтолкнёт её сильнее.

— Вы не знаете, что эта женщина может вам сказать.

— Именно поэтому я должна её услышать.

— После разговора с ней вы можете пожалеть, что начали вспоминать.

Вера взяла со стола тетрадь Марины и показала ему страницу с детской фразой: «Только Вера не должна бояться». Артём прочитал, и его лицо изменилось; он быстро, почти болезненно узнал в этих детских словах что-то из собственной истории.

— Где вы это нашли?

— У Валентины Егоровны. Марина писала о двери до исчезновения. И обо мне.

Он долго смотрел на страницу, потом закрыл тетрадь очень осторожно.

— Хорошо. Мы сходим к Нине Павловне, но ненадолго. Если она не откроет, не будем стоять под дверью и уговаривать. Если откроет и попросит уйти, уйдём сразу.

— Вы боитесь её?

— Я боюсь того, что люди делают из-за своей боли, когда она живёт дольше, чем надежда.

Они вышли, когда город уже погружался в ранние сумерки. Улица Кладбищенская находилась в нижней части Североморска, там, где дома становились старше, дворы теснее, а ветер с моря проходил между зданиями узкими ледяными потоками. По дороге Артём почти не говорил. Вера шла рядом, держа тетрадь Марины в сумке, и чувствовала, как каждый шаг приближает её не к новой информации, а к чужому горю, в которое она, возможно, была вписана с детства.

Дом Нины Сомовой оказался кирпичным, трёхэтажным, с облупленной табличкой у подъезда и окнами, где уже горел вечерний свет. Напротив действительно начиналось старое кладбище: низкая ограда, мокрые кресты, тёмные силуэты деревьев, узкая дорожка к нижним воротам.

Нина Павловна жила на первом этаже. Артём постучал осторожно, не в дверь даже, а в деревянную раму рядом, будто боялся потревожить не человека, а больного. За дверью долго ничего не происходило. Потом послышались медленные шаги, щёлкнул замок, и в узкой щели показалось лицо пожилой женщины с белыми, коротко остриженными волосами и тёмными глазами, в которых не было ни удивления, ни старческой рассеянности. Она посмотрела сначала на Артёма, потом на Веру, и её лицо изменилось так резко, что Вера невольно отступила на полшага.

— Морозова, — сказала Нина Павловна. Это не было вопросом.

Вера почувствовала, как фамилия ударила по ней сильнее имени. Не Вера. Не дочь Ирины. Морозова. Часть семьи, дома, истории, которую эта женщина, видимо, ненавидела слишком долго, чтобы отделять одного человека от другого.

— Я хотела поговорить с вами о Марине, — сказала Вера. Нина Павловна улыбнулась. Очень слабо, без тепла.

— Через тридцать лет вспомнила?

Артём чуть повернулся к Вере, но она не дала ему вмешаться.

— Сегодня. Я вспомнила её сегодня.

Женщина смотрела на неё долго. Потом взгляд её скользнул к сумке, словно она знала, что там лежит тетрадь или камень, и дверь открылась шире.

— Тогда заходи, — сказала Нина Павловна. — Посмотрим, сколько именно ты вспомнила и сколько твоя мать успела похоронить вместе с собой.

Квартира пахла пылью, лекарствами и сухими цветами. На стенах висели фотографии Марины: маленькая Марина с букетом у школьной доски, Марина у моря, Марина с котёнком, Марина в пальто с меховым воротником, Марина, которая год за годом оставалась семилетней, пока её мать старела рядом с этими снимками. Каждая вещь в квартире существовала вокруг отсутствия девочки, как планеты вокруг тёмного солнца.

Нина Павловна провела их на кухню, но сесть не предложила. Сама встала у окна, за которым начиналось кладбище, и посмотрела на Веру с той прямотой, от которой невозможно было укрыться ни в вежливости, ни в жалости.

— В день исчезновения Марина пошла к тебе, — сказала она. — В красных варежках, с коробочкой камней и с тетрадью, где рисовала вашу дверь. Она сказала мне, что вы с Верой знаете, как вернуть того, кто ушёл. Я подумала, детские глупости. Через два часа её уже не было.

Вера сжала ремень сумки.

— Я не помню этот день.

— Конечно, не помнишь. Твоя мать хорошо умела закрывать двери.

Артём тихо произнёс:

— Нина Павловна.

— Не смей меня останавливать, Белов. Твой отец уже однажды остановил поиски.

Он побледнел, но промолчал.

Нина Павловна снова посмотрела на Веру.

— Я пришла в ваш дом вечером. Ирина не пускала меня внутрь. Говорила, что Марины у вас не было. А потом сверху, со второго этажа, я услышала голос дочери. Она плакала и звала меня. Я бросилась к лестнице, но твоя мать встала передо мной с ножом и сказала, что, если я открою дверь наверх, не вернётся никто.

Вера почувствовала, как пол под ногами словно стал мяг-

че.

— Вы слышали Марину в доме?

— Я слышала свою дочь, — ответила Нина Павловна. —

И слышала тебя. Ты смеялась рядом с ней.

В комнате стало слишком тихо. Даже Артём не двигался.

— Это невозможно, — прошептала Вера.

— Невозможно было жить дальше, — сказала Нина Павловна. — А это просто было.

Она подошла к старому буфету, открыла верхний ящик и достала маленькую жестяную коробку, ту самую, какие раньше продавали с печеньем. Поставила её перед Верой и открыла крышку. Внутри лежали детские камни, пуговицы, ракушки, кусочек синего стекла, выцветшая ленточка и фотография, сложенная пополам.

— Через неделю после исчезновения я нашла это у себя под дверью, — сказала Нина Павловна. — Не знаю, кто принёс.

Вера взяла фотографию. На снимке были две девочки у старого сарая за домом Морозовых. Марина стояла слева, светлая, серьёзная, с красным камешком в руке. Рядом стояла Вера в той самой красной куртке. Обе смотрели не в камеру, а куда-то вправо, на то, что осталось за границей кадра. На обороте детским почерком, неровным и старательным, было написано: «Мы попросим дверь вернуть папу».

Вера читала эти слова, чувствуя, как память наконец перестает стучаться изнутри и начинает открываться сама. Она

вспомнила желание. Вспомнила, как сильно хотела вернуть отца. Вспомнила Маринину ладонь в своей руке и холодный коридор второго этажа.

И самое страшное — вспомнила, что в тот день дверь действительно открылась.

Глава 15

День, когда дверь открылась

Воспоминание пришло не как картинка и не как последовательный рассказ, который можно спокойно развернуть перед собой, рассмотреть и назвать прошлым. Оно вошло в Веру рывком, но не резким, а глубоким, внутренним, словно где-то под грудью треснула давно промёрзшая поверхность, и из-под неё поднялась тёмная вода. Она стояла на кухне Нины Павловны Сомовой, с детской фотографией в руках, и вдруг почувствовала, что больше не может удерживать в себе ту пустоту, которую когда-то приняли за спасительное забывание.

Сначала вернулся запах. Не образ, не голос, а именно запах: мокрая древесина старого сарая за домом Морозовых, соль, глина, холодное железо качелей, которые отец когда-то пытался закрепить между двумя яблонями, и ещё слабый сладковатый запах Марининых варежек, пропитанных карамелью, потому что она всегда носила в кармане леденцы и забывала их там до тех пор, пока они не прилипали к ткани. Потом пришёл свет — низкий, серый, с жёлтым оттенком перед дождём; такой бывает в северных приморских городах ближе к вечеру, когда солнце уже спряталось, но небо ещё не стало ночным, и все предметы кажутся обведёнными тонкой линией тревоги.

В тот день они действительно были вдвоём за сараем. Вера сидела на бревне в красной куртке, сердитая, насуспенная, с заплаканными глазами, потому что взрослые снова говорили об отце так, будто он умер, хотя никто не видел его тела. Мать уже несколько дней ходила по дому тихо, но с такой страшной собранностью, что даже чашки на кухне, казалось, боялись звякнуть лишний раз. Соседки приходили, приносили еду, шептались в прихожей, участковый задавал вопросы, кто-то упоминал море, обрыв, шторм, но Вера чувствовала: всё это неправда. Отец не мог просто уйти к морю и исчезнуть. Отец обещал утром показать ей волны у маяка. Отец звал её ночью из-за двери. А если он звал, значит, был где-то рядом, и взрослые просто не хотели его искать там, где нужно.

Марина тогда принесла красный камешек. Она села рядом, не спрашивая разрешения, и долго молчала, болтая ногами в резиновых сапогах. Она была из тех детей, которые не утешают словами, потому что слишком рано понимают бесполезность чужих «не плачь». Вместо этого она раскрыла ладонь, показала гладкий красный камень с тёмной прожилкой и сказала, что нашла его у самой воды после шторма, там, куда обычно не разрешали подходить даже взрослым. Камень, по её словам, был особенный, потому что море выбросило его не просто так: если спрятать его возле двери, которая появляется только тогда, когда человек очень сильно хочет, желание можно вернуть обратно в мир.

Вера тогда, кажется, разозлилась. Она сказала, что желания не возвращают людей, что Марина ничего не понимает, потому что у неё отец дома, а не где-то в чёрной воде. Марина не обиделась. Она только прижала камень к груди и посмотрела на второй этаж дома Морозовых так серьёзно, будто знала о нём больше, чем могла знать семилетняя девочка.

«Дверь не для всех», — сказала она тогда, и Вера вдруг вспомнила интонацию так ясно, что на кухне Нины Павловны у неё перехватило дыхание. Марина говорила не как ребёнок, придумавший игру, а как человек, которому уже объяснили правила. «По одному она не пускает. Надо вдвоём. Один просит, другой держит камень. Тогда она слушает».

Вера не помнила, как они решились. Возможно, решение не было отдельным моментом. Детские поступки часто совершаются не после размышления, а после внутреннего наклону, когда страх, надежда и обида складываются в движение. Они пробрались в дом через заднюю дверь, потому что Ирина Алексеевна в то время разговаривала в саду с участковым или с кем-то из соседок. Вера помнила, как тихо шуршали их мокрые куртки, как Марина сняла сапоги прямо у порога и пошла в носках, чтобы не стучать по полу, как на кухонном столе стояли три чашки, хотя в доме, по словам матери, их осталось только двое.

Эта третья чашка теперь всплыла в памяти с почти болезненной точностью. Синяя, отцовская, с тонкой трещиной у ручки. Мать не убрала её после той ночи.

Они прошли к лестнице. Дверь на второй этаж тогда была заперта, но ключ торчал в замке. Вера знала, что мать иногда оставляла его снаружи днём, когда поднималась за вещами, и это знание показалось им подарком, знаком, подтверждением Марининой теории: если дверь не хотела бы, чтобы они пришли, ключа бы не было. Теперь, спустя тридцать лет, Вера понимала всю ужасную детскую логику этого вывода, но тогда он был почти неопровержим. Желание всегда ищет доказательства, и, если доказательств нет, оно делает их из случайностей.

Марина повернула ключ первой. Замок щёлкнул слишком громко, обе девочки замерли, прислушиваясь, не услышала ли мать. Но внизу было тихо, только за окнами шумел ветер и где-то далеко, со стороны берега, кричала чайка. Они поднялись на второй этаж, держась за руки, и Вера вдруг почувствовала знакомый холод, тот самый, который позже будет преследовать её всю жизнь под разными именами: тревога, бессонница, плохое предчувствие, нервное истощение. На самом деле это был холод дома, и он уже тогда узнал её.

В конце коридора была стена. Обычная старая стена с выцветшими обоями и тёмным пятном у плинтуса.

Вера вспомнила, что сначала испытала разочарование такое сильное, что почти заплакала. Никакой двери не было. Никакого чуда. Отец не вернётся. Марина ошиблась, а может быть, просто придумала всё, чтобы Вера перестала плакать. Она уже хотела повернуться и уйти, но Марина вдруг

опустилась на колени, положила красный камешек к самому плинтусу и сказала, что теперь нужно попросить. Не громко, потому что дом не любит, когда кричат. И не сразу, потому что дверь не открывается тем, кто требует. Нужно попросить так, будто уже готов отдать что-нибудь взамен.

Вера тогда не поняла последней фразы. Или сделала вид, что не поняла. Она помнила свои слова не полностью, но помнила чувство, с которым произносила их: злость, тоска, детская уверенность, что справедливость можно вымолить, если боль достаточно сильна. Она попросила вернуть папу. Попросила так, как просят не у Бога и не у взрослых, а у самой темноты, когда взрослые оказались бесполезны. Марина рядом держала её за руку, и пальцы у неё были горячие, влажные, дрожащие. Несколько секунд ничего не происходило. Потом из стены донёсся звук. Не удар и не скрип, а медленное внутреннее движение, словно под обоями просыпалось дерево, которого там не должно было быть.

Вера на кухне Нины Павловны сжала фотографию так сильно, что та согнулась в пальцах, но не выпустила её. Воспоминание уже нельзя было остановить. Оно шло дальше, и вместе с ним возвращалось то, что она когда-то так тщательно потеряла.

На стене появилась тонкая вертикальная линия. Сначала едва заметная, как трещина в старых обоях, потом темнеющая, расширяющаяся, отделяющая от себя прямоугольник, которого секунду назад не существовало. Обои не рвались,

не отставали, не осыпались. Они будто сами меняли рисунок, подчиняясь форме, которую дом давно держал внутри. Вера помнила, как Марина перестала дышать рядом с ней, как её ладонь сжалась до боли, как красный камешек у плитуса чуть дрогнул, словно его коснулся невидимый сквозняк.

Дверь была узкая, тёмная, с потемневшей ручкой. И из щели под ней лился жёлтый свет. Тот самый. Вера вспомнила, как обрадовалась. Это было самым страшным в возвращённой памяти: не ужас, не крик, не попытка убежать, а именно радость, почти счастливая, почти победная. Она не думала, что происходит невозможное. Она думала, что нашла путь к отцу. Взрослый разум сейчас пытался вмешаться, сказать, что ребёнок не виноват, что надежда делает с людьми жестокие вещи, что семилетняя девочка не могла понять опасность, но внутри всё равно поднималась вина, древняя, густая, как холодная вода.

Из-за двери послышался голос. Отец произнес ее имя тихо, устало, почти ласково, и Вера сделала шаг вперёд прежде, чем Марина успела удержать её.

«Не открывай сразу», — прошептала Марина, но уже сама смотрела на дверь с замороженным страхом. Возможно, она знала правила, но не знала, что делать, когда чудо перестаёт быть игрой и начинает говорить голосом живого человека.

Вера взялась за ручку. Металл оказался холодным и мокрым, как камень у моря. Она повернула её не до конца, потому что внизу вдруг раздался крик матери. Ирина Алексеевна

звала её по имени, но в этом крике было не просто беспокойство, а тот самый ужас, который Вера услышит снова много лет спустя в своей памяти. Мать уже бежала наверх. Девочки испугались. Марина схватила камешек с пола, Вера дёрнула ручку сильнее, не понимая, хочет открыть или закрыть, и в этот момент дверь приоткрылась.

Из щели пахнуло не пылью и не сыростью. Пахнуло морем после шторма, табаком отцовских сигарет и чем-то тёплым, домашним, невозможным — запахом его свитера, в который Вера иногда прятала лицо, когда он поднимал её на руки.

Внутри кто-то стоял. Она не увидела лица полностью, только силуэт, плечо, тень руки, свет позади. Но голос был отцовский.

«Верочка, я здесь».

И тогда Марина сделала то, чего Вера не ожидала. Она шагнула первой. Не потому, что была смелее, а потому, что в её детской голове, вероятно, правило оставалось правилом: один просит, другой держит камень. Она держала камень. Значит, должна была подойти ближе. Вера вспомнила это движение так ясно, что у неё на мгновение потемнело в глазах: Марина, маленькая, светловолосая, с красным камнем в кулаке, делает шаг к приоткрытой двери, а за её спиной уже появляется мать, бледная, почти обезумевшая, с такой скоростью, на какую Вера никогда не считала её способной.

Ирина успела схватить Веру.

Не Марину.

Именно Веру.

Это было не решение даже, а рефлекс матери, увидевшей своего ребёнка у края. Она рывком оттащила дочь назад, так сильно, что Вера ударилась плечом о стену. Марина обернулась. На её лице было удивление, не страх. Такое удивление бывает у детей, когда взрослые внезапно ломают правила игры. Дверь в этот момент открылась шире, и свет внутри стал таким ярким, что на несколько секунд всё исчезло: коридор, мать, лестница, обои, Маринино лицо.

Когда свет погас, девочки рядом уже не было. На полу у плинтуса лежал красный камешек. А дверь снова стала стеной.

Вера вернулась в кухню Нины Павловны с коротким, глухим вдохом, словно вынырнула из-под воды. Артём держал её за плечи, и только по его рукам она поняла, что несколько секунд назад начала оседать на пол. Нина Павловна стояла напротив, не двигаясь, с лицом человека, который ждал этого рассказа тридцать лет и всё равно не был готов его услышать.

— Я вспомнила, — сказала Вера, но голос её звучал так тихо, что слова едва удержались в воздухе. Нина Павловна не спросила, что именно. Видимо, всё уже было написано на Верином лице.

— Она вошла? — спросила женщина.

Вера закрыла глаза, и слёзы, которых не было у тела матери, которых не было в больнице, у нотариуса, у гроба, у

всех этих официальных дверей смерти, наконец поднялись так резко, что она почти не смогла говорить.

— Я не знаю, вошла ли она сама. Дверь открылась. Мама схватила меня. Марина была ближе. Потом её не стало.

Нина Павловна медленно села на стул. Лицо её не изменилось, но вся фигура вдруг стала меньше, словно последняя надежда, даже самая страшная, всё же держала её спину прямо, а теперь ушла.

— Значит, Ирина знала, — сказала она.

— Да.

— И ты знала.

В этих словах не было крика, но они ударили сильнее обвинения. Вера хотела сказать, что ей было семь лет, что она забыла не по своей воле, что мать, возможно, сделала всё, чтобы стереть это, что ребёнок не отвечает за дверь, которую не должен был видеть. Но ни одно оправдание не могло вернуть Марину, не могло отменить тридцать лет, проведённые Ниной Павловной в квартире напротив кладбища, среди фотографий дочери, которая навсегда осталась семилетней.

— Я забыла, — сказала Вера.

Нина Павловна посмотрела на неё, и в её глазах была такая усталость, что ненависть, если она там и жила, давно истончилась до чего-то более страшного.

— Забвение — роскошь живых.

Артём тихо произнёс её имя, но она не отозвалась. В комнате зашевелился ветер; где-то плохо закрытая форточка

пропустила внутрь холодный поток, и фотографии Марины на стене едва заметно дрогнули. Вера смотрела на них и понимала, что теперь исчезновение девочки больше не будет для неё чужой историей.

— Моя мать оставила мне кассеты, — сказала Вера после долгого молчания. — На первой отец говорил о комнате. О том, что она показывает надежду. Думаю, они пытались понять, как вернуть тех, кто там остался.

Нина Павловна резко подняла глаза.

— Вернуть?

Слово прозвучало опасно. Вера сразу поняла почему. Для женщины, потерявшей ребёнка, оно не было теорией, не было мистической приманкой, не было частью расследования. Оно было тем самым крючком, на который дом, если верить всему услышанному, ловил людей лучше всего.

— Я не знаю, возможно ли это, — осторожно сказала Вера.

Нина Павловна усмехнулась. Губы дрогнули, но в этой усмешке не было ничего живого.

— Твоя мать тоже однажды сказала мне почти так же. «Я не знаю, Нина. Я пока не знаю». А потом закрыла дверь перед моим лицом и прожила ещё тридцать лет в доме, где, может быть, была моя дочь.

— Она пыталась удержать комнату, — сказал Артём.

Нина Павловна медленно повернулась к нему.

— А твой отец пытался удержать город от паники. Каж-

дый из вас всегда пытался удержать что-то своё. Только дети почему-то исчезали по-настоящему.

Артём побледнел, и Вера увидела, как эта фраза попала в него. Он не ответил. Возможно, потому что нечего было ответить. В этом городе у каждой семьи было своё оправдание и своя вина, и дом, казалось, питался не только горем, но и тем, как люди годами перекладывали его друг на друга, не находя места, где оно могло бы наконец остановиться.

Нина Павловна встала, подошла к буфету и достала ещё один предмет: маленькую аудиокассету в прозрачной коробке. На наклейке детской рукой было написано: «Мы и море». Она положила кассету перед Верой.

— Марина записывала себя на старый магнитофон. Песни, сказки, какие-то разговоры. Эту кассету я нашла в её комнате после исчезновения. Долгое время не могла слушать. Потом однажды включила и услышала в конце то, чего там раньше не было.

— Что?

— Твой голос, — сказала Нина Павловна. — И голос Ирины. Я думала, схожу с ума, потом решила, что, может быть, запись была сделана у вас в доме и Марина принесла её раньше. Но теперь я уже ни в чём не уверена.

Вера не потянулась к кассете сразу. После первой записи отца магнитная лента перестала быть просто носителем голоса; она стала тонкой чёрной дорогой, по которой прошлое могло прийти слишком близко. Но отказаться она тоже не

могла.

— Можно я возьму её?

— Я ждала тридцать лет, чтобы отдать её тому, кто сможет услышать не только мою дочь, но и свою вину, — ответила Нина Павловна. — Берите.

На улице за окнами сгущались сумерки. Шторм подходил ближе; ветер уже бил в стёкла с такой силой, что старые рамы дрожали. Артём посмотрел на часы и сказал, что нужно уходить, пока не перекрыли нижнюю дорогу у кладбища. У двери Нина Павловна остановила Веру и долго смотрела на неё, словно пыталась увидеть под взрослым лицом ту девочку в красной куртке, которая когда-то стояла рядом с Мариной перед дверью.

— Если ты снова увидишь её, — сказала она, — не обещай ей ничего. Дом любит обещания. Он из них строит стены.

Вера кивнула, хотя не была уверена, что сможет выполнить этот совет.

Когда они вышли на улицу, ветер ударил в лицо мокрой солью. Дорога к дому Валентины Егоровны шла мимо нижних ворот кладбища, и Вера, проходя, невольно посмотрела внутрь: ряды тёмных крестов, мокрые венки, голые деревья, дорожки, размытые дождём. Завтра здесь похоронят её мать. Женщину, которая спасла её у двери и оставила Марину за порогом. Женщину, которую Вера ненавидела, жалела и всё меньше понимала, где именно между этими чувствами проходит правда.

Артём шёл рядом молча, но у поворота вдруг остановился.

— Вы не виноваты в том, что сделали в семь лет.

Вера не посмотрела на него.

— Тогда почему я чувствую, что виновата?

Он ответил не сразу. За их спинами ветер хлопнул кладбищенской калиткой, и этот звук прокатился по улице тонким металлическим эхом.

— Потому что вина иногда приходит туда, где раньше была беспомощность. Её легче вынести. С ней хотя бы кажется, что ты мог что-то изменить.

Вера остановилась. Эти слова оказались слишком точными и слишком человеческими для человека, который всё это время казался собранным до жесткости.

— Вы говорите о себе? — спросила она.

Он посмотрел в сторону моря, которого не было видно за домами, но которое уже звучало в каждой щели города.

— И о себе тоже.

Дальше они шли молча. Но это молчание было уже другим. Не доверительным ещё, не близким, но менее пустым, чем раньше. Между ними лежали кассеты, исчезнувшие дети, вина родителей, приближающийся шторм и дом, который, возможно, уже давно ждал, когда все эти линии снова сойдутся в одной точке.

Когда они подошли к дому Валентины Егоровны, Вера обернулась к обрыву. Вдалеке, над крышами, на мгновение

вспыхнул луч маяка и скользнул по мокрому воздуху, как бледный нож. В ту же секунду у неё в сумке тихо щёлкнула кассета Марины, будто внутри пластик сам сдвинулся от холода или движения.

Вера остановилась, но больше ничего не услышала. Только море. И где-то в его шуме, таком далёком, что это могло быть воображением, детский голос тихо произнёс её имя.

Глава 16

Кассета Марины

Когда они вернулись к Валентине Егоровне, город уже почти растворился в дожде, остались только размытые огни и тёмные силуэты домов.

Сумерки пришли раньше положенного, как всегда бывает перед сильным штормом на северном побережье, когда небо не темнеет постепенно, а словно опускается ниже, придавливая крыши, провода, голые деревья, мокрые заборы и человеческие лица одним тяжёлым свинцовым слоем. Ветер шёл с моря неровными порывами, то затихая на несколько секунд, то внезапно бросаясь на окна с такой силой, будто снаружи кто-то хватался за рамы и пытался встряхнуть дом. Вера, едва переступив порог, почувствовала, что вместе с мокрым воздухом внесла в чужую тёплую кухню что-то ещё: запах кладбищенской земли, горечь разговора с Ниной Павловной и ту новую, почти невыносимую память, от которой теперь невозможно было спрятаться ни за усталость, ни за взрослую рассудительность.

Валентина Егоровна встретила их уже без вопросов. Она только посмотрела на Веру, потом на Артёма, на их мокрые пальто, на сумку, которую Вера держала слишком крепко, и молча поставила чайник на плиту. В этом доме всё ещё было тепло, но тепло стало другим: не спасительным, как утром, а

временным, тонким, как свет маленькой лампы перед большим ветром. Казалось, стоит открыть дверь чуть шире, впустить с улицы ещё один порыв, и всё уютное, человеческое, обжитое сразу окажется хрупкой декорацией рядом с тем, что поднимается из прошлого.

Вера сняла пальто и повесила его на спинку стула, хотя Валентина Егоровна всегда аккуратно относила верхнюю одежду в прихожую. Ей больше не хотелось соблюдать порядок. После квартиры Нины Павловны, после фотографий Марины на стенах, после детской надписи на обороте снимка — «Мы попросим дверь вернуть папу» — все привычные жесты казались не заботой о себе, а бессмысленной попыткой сделать вид, будто жизнь всё ещё держится на чае, сухих носках и расписании завтрашних похорон. Внутри неё уже открылась другая логика, тёмная и притягательная: если дверь однажды забрала Марину, если отец говорил с ней из-за стены, если мать знала и молчала, значит, всё, что до сих пор называлось прошлым, было не законченной историей, а закрытым помещением, где кто-то продолжал ждать.

Артём, войдя вслед за ней, сразу подошёл к окну и отодвинул занавеску совсем немного, ровно настолько, чтобы видеть улицу. Валентина Егоровна заметила это и ничего не сказала, но Вера уловила, как старуха задержала на нём взгляд. Между ними существовало молчаливое понимание, к которому Вера пока не принадлежала: они оба знали, как ведёт себя дом перед штормом, какие звуки можно считать

обычными, а какие нет, когда нужно закрывать окна, когда зажигать свет, когда не отвечать на стук и почему иногда самое опасное — не то, что приближается снаружи, а то, что человек сам приносит в кармане или сумке.

— Нина Павловна отдала кассету? — спросила Валентина Егоровна, когда чайник начал тихо шуметь.

Вера положила сумку на стол и медленно достала прозрачную коробку. Внутри лежала маленькая кассета с наклейкой «Мы и море», и детский почерк на ней после посещения квартиры Нины Павловны стал почти болезненно живым. Это была рука Марины, протянутая через тридцать лет, и Вера не знала, зовёт ли эта рука к правде или к той же двери, перед которой они когда-то стояли вместе.

Артём обернулся от окна.

— Не сегодня, — сказал он.

Вера даже не удивилась. Она ждала этих слов и уже знала, что не согласится.

— Сегодня.

— Шторм уже начинается. Мы не знаем, что записано на этой кассете, и тем более не знаем, что могло появиться на ней после.

— Именно поэтому нельзя ждать.

— Это не аргумент, Вера.

Она подняла на него глаза. Он впервые назвал её просто по имени, без отчества, без вежливой дистанции, и это почему-то прозвучало не фамильярно, а тревожно близко, буд-

то за несколько последних часов между ними незаметно возникло то, что люди обычно получают только после долгого времени: знание чужого страха, чужой вины, чужой способности не отступить, даже если было бы разумнее.

— Для вас всё, что приближает нас к ответам, не аргумент, — сказала она. — Вы всё время предлагаете отложить, переждать, закрыть, не слушать, не трогать, не входить. Но именно так здесь тридцать лет все и жили. Закрывали, ждали, боялись, молчали, и в итоге моя мать умерла у лестницы, Марина осталась в доме или в том, что притворяется домом, ваш брат исчез, а мой отец до сих пор звонит мне с номера, которого не существует.

Артём не ответил сразу. Вера видела, что он злится, но злость его была направлена не на неё или не только на неё. Она попадала в тот слой его прошлого, где, возможно, тоже были запреты, осторожность, и детский голос, который однажды позвал оттуда, куда нельзя было идти.

— Я не предлагаю молчать, — произнёс он наконец. — Я предлагаю не давать дому диктовать темп.

— А если темп уже диктует шторм?

Валентина Егоровна, до этого молчавшая, сняла чайник с плиты и выключила газ. Пламя погасло с мягким щелчком, и в кухне стало слышнее, как ветер трёт мокрые ветки о стекло.

— Если будете слушать, слушайте не возле окна, — сказала она. — И не ставьте кассету на середину, как иногда де-

лают, когда боятся начала. Всё, что записано, должно идти своим порядком. И если услышите, что кто-то из записи обращается к вам не из прошлого, а прямо сейчас, выключайте сразу. Вера посмотрела на неё. У Валентины Егоровны было такое лицо, будто она сама не верит, что произносит эти правила вслух, но знает: молчать хуже.

— Вы уже слышали такие записи? — спросила Вера.

Старуха поставила чашки на стол.

— Один раз. Давно. После исчезновения вашего отца Ирина Алексеевна приносила мне кассету, потому что не могла решить, слышит ли она на ней то, что слышит. Я послушала вместе с ней и с тех пор не люблю магнитофоны.

— Что там было?

— Сначала шум моря, потом голос Сергея Викторовича, потом ваш детский смех, хотя Ирина клялась, что в тот момент вы спали в Архангельске у её сестры. А под конец кто-то очень тихо сказал моё имя.

Вера почувствовала, как холод поднимается от живота к груди.

— Ваше?

Валентина Егоровна кивнула.

— Не голосом человека, которого я знала. Моим собственным голосом. Так бывает во сне, когда слышишь себя со стороны и понимаешь, что сказала то, чего не хотела знать. После этого я попросила Ирину больше ничего мне не приносить.

Артём сел за стол, но не снял куртку, словно собирался в любой момент встать. Вера раскрыла коробку с кассетой. Пластик был старый, чуть помутневший, лента внутри казалась тёмной и хрупкой. Магнитофон, который утром принесла Валентина Егоровна, всё ещё стоял на краю стола, рядом с солью, чашками и маленькой иконой на полке в углу. Вера вдруг подумала, что в этой кухне сошлись слишком разные способы защиты: техника, молитва, соль, человеческое присутствие, осторожность и упрямое желание знать правду.

Она вставила кассету.

Магнитофон щёлкнул, лента натянулась, и несколько секунд ничего не происходило. Потом из динамика донёсся слабый шорох, похожий на дыхание старой бумаги, и детский голос, высокий, чуть гнусавый, с той особенной серьёзностью, с какой дети объявляют начало собственной игры.

— Это мы записываем море, потому что Вера говорит, что море не помещается в карман, а я говорю, что всё помещается, если правильно сложить.

Валентина Егоровна прикрыла рот ладонью. Вера перестала дышать. Голос Марины был не призрачным, не искажённым, не потусторонним. Он был обычным детским голосом, живым настолько, что в первую секунду хотелось обернуться и увидеть девочку рядом, на табурете, с болтающимися ногами и леденцом за щекой.

На записи послышался шум ветра, потом другой голос — её собственный, детский, чуть сердитый.

— Море нельзя сложить.

— А папу можно вернуть? — спросила Марина.

После этих слов в кухне как будто стало меньше воздуха. Вера почувствовала, что Артём смотрит на неё, но не повернулась.

— Если дверь даст, можно, — после долгого молчания наконец произнесла маленькая Вера.

Голос был её, несомненно её, но Вера не узнавала в нём себя. Не по звучанию — по интонации. В этом детском голосе была уверенность, которой она не помнила, почти тайная гордость человека, посвящённого в нечто важное. Значит, Марина не одна принесла легенду о двери. Вера тоже уже знала. Или думала, что знает.

На записи зашуршало что-то близко к микрофону, возможно, рукав куртки или ладонь, прикрывающая диктофон. Потом Марина заговорила тише:

— А если она попросит взамен?

— Что?

— Мама говорит, за всё надо платить.

Маленькая Вера фыркнула.

— Это взрослые так говорят, когда не хотят давать.

Где-то вдалеке на записи крикнула чайка. Потом слышались шаги по мокрой земле, короткий смех, стук чего-то деревянного. Вера поняла, что они тогда были за сараем, в том самом месте, которое уже всплыло в памяти после прикосновения к камню.

— Я хочу попросить, чтобы папа пришёл домой, — сказала детская Вера.

— А я попрошу, чтобы мама перестала плакать ночью, — сказала Марина.

Валентина Егоровна тихо опустилась на стул. Артём не двигался. Запись продолжалась. Девочки спорили о том, нужно ли брать фонарик, боится ли дверь взрослых, можно ли просить два желания сразу. Их голоса то удалялись, то приближались, иногда перекрывались шумом ветра, и от этой бытовой, почти смешной детской суеты становилось страшнее, чем от любого прямого ужаса. Потому что Вера уже знала, куда они идут. Знала, что за этой болтовнёй стоит лестница, ключ в замке, стена в конце коридора и свет под дверью.

Потом на кассете раздался звук открываемой задней двери. Валентина Егоровна зашептала что-то, возможно, молитву, но Вера не разобрала.

Дальше были шаги по дому. Девочки старались идти тихо, но старые половицы всё равно поскрипывали. На записи Вера слышала собственный детский шёпот:

— Если мама узнает, она нас убьёт.

— Не убьёт, — ответила Марина. — Она просто всё испортит.

Слово «испортит» прозвучало легко, по-детски, но у взрослой Веры внутри что-то болезненно сжалось. Мать тогда действительно могла показаться тем, кто портит: не раз-

решает, запрещает, оттаскивает, запирает. Только теперь Вера знала, что иногда взрослый, который ломает чудо, спасает ребёнка от того, что чудом притворяется.

На записи щёлкнул замок двери на второй этаж.

Артём резко поднял голову, как будто звук пришёл не из магнитофона, а из прихожей. Вера тоже невольно посмотрела туда, но дверь Валентины Егоровны была закрыта, щеколда на месте, сумерки за окном густели.

Шаги на лестнице звучали всё ближе и глуше. Потом наступила пауза.

— Тут холодно, — сказала Марина.

— Потому что дверь скоро появится, — ответила маленькая Вера.

Вера закрыла глаза. Ей не хотелось слышать дальше, но рука не поднялась выключить магнитофон. Запись уже не просто рассказывала прошлое; она вела её по нему, шаг за шагом, не оставляя места для удобной неполноты.

— Откуда ты знаешь? — спросила Марина.

— Я её видела.

Пауза.

— Когда?

Детская Вера не ответила сразу. Потом её голос стал совсем тихим:

— Когда папа звал.

В кухне стало невыносимо тихо, хотя магнитофон продолжал шуршать, а за окнами всё сильнее бил ветер. Вера от-

крыла глаза и увидела, что Артём смотрит уже не на магнитофон, а на неё. Не с обвинением и не с жалостью, а с тем мрачным пониманием, которое приходит, когда чужая история начинает повторять твою собственную.

На записи Марина сказала:

— Значит, он там.

Маленькая Вера ответила не сразу.

— Он сказал, чтобы я открыла. Но мама не дала.

— Тогда теперь откроем.

Валентина Егоровна резко потянулась к магнитофону, но Вера остановила её рукой. Не грубо, почти инстинктивно. Старуха посмотрела на неё с ужасом.

— Дальше нельзя.

— Нужно, — сказала Вера, и голос её прозвучал так спокойно, что она сама испугалась.

Запись продолжалась. Девочки стояли в коридоре второго этажа. Слышно было их дыхание, далёкий ветер, старый дом, живой в каждом скрипе. Потом Марина, очень серьёзно, почти торжественно произнесла:

— Кладём камень и просим.

Раздался слабый стук камешка о деревянный пол.

— Пожалуйста, верни папу, — сказала маленькая Вера.

Она произнесла это не как молитву, а как требование, едва удержанное вежливым словом. И вслед за этим на записи появился звук, от которого все трое за столом замерли. Это было медленное изменение стены, не похожее ни на один

обычный звук дома: тонкий треск бумаги, глубокий деревянный стон, едва слышное движение воздуха, будто где-то в замкнутом пространстве открылась щель. Марина тихо ахнула.

— Получилось.

Дальше запись стала хуже. Шум усилился, голоса девочек отдалились, хотя магнитофон, судя по всему, был совсем рядом. Вера слышала только обрывки: «свет», «ручка», «не бойся», «держи камень». Потом прозвучал голос Сергея Морозова.

— Верочка, я здесь.

Артём встал так резко, что стул скрипнул по полу. Но Вера даже не повернулась. Всё её тело, вся память, всё, что было в ней живым и замёрзшим одновременно, слушало этот голос.

— Папа? — сказала маленькая Вера на записи.

— Открой, — попросил Сергей. — Мне холодно.

И в этот момент в записи появилось что-то новое, как будто магнитная плёнка не выдержала того, что должна была сохранить. Шуршание стало глубже, протяжнее, и за голосом отца проступил другой слой: множество едва слышных шёпотов, наложенных друг на друга. Они произносили разные имена, но одно звучало чаще остальных.

Вера.

А потом взрослый женский голос, голос Ирины Морозовой, закричал с такой силой, что динамик захрипел:

— Отойди от неё!

Последовал глухой удар, детский вскрик, быстрые шаги. Марина говорила что-то неразборчиво, почти плакала. Маленькая Вера звала отца. Ирина повторяла: «Не смотри туда, не смотри, не смотри», но в её голосе был уже не только страх. Там была ярость, отчаянная, животная, материнская ярость, с которой человек бросается между ребёнком и тем, что не имеет права его взять.

Потом запись внезапно прояснилась.

Марина сказала совсем близко к микрофону:

— Вера, я вижу твоего папу.

Её голос изменился. Он стал тише, мягче, почти счастливым.

— А он держит кого-то за руку.

Вера почувствовала, как сердце ударило о рёбра.

Раздался смех Марины, но почти сразу его заглушил удар ветра и резкий стук захлопнувшейся двери. Несколько секунд была пустота.

Затем маленькая Вера заплакала.

— Где Марина?

Ирина дышала тяжело, почти хрипло.

— Не было никакой Марины.

— Была.

— Слышишь меня? Не было. Ты спала. Ты всё придумала.

— Она вошла.

— Нет.

— Мама, дверь её забрала.

Раздался звук пощёчины.

Вера вздрогнула за столом так, будто удар пришёлся по её собственной щеке сейчас, а не тридцать лет назад. Валентина Егоровна тихо вскрикнула. Артём шагнул к магнитофону, но Вера подняла руку, не позволяя выключить.

На записи Ирина плакала. Не громко, не как человек, потерявший самообладание, а тихо, сдавленно, почти без воздуха.

— Если ты будешь помнить, он придёт за тобой, — сказала она дочери. — Если ты будешь говорить, он придёт за тобой. Поняла? Ты спала. Марины здесь не было. Двери не было. Папа ушёл к морю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.